

*D**

**СТРЕМЯ
«ТИХОГО ДОНА»**

(Загадки романа)

YMCA-PRESS
PARIS

D*

СТРЕМЯ «ТИХОГО ДОНА»

(Загадки романа)

Стремнину реки, ее течение, донцы
именуют стремянем: *стрема понесло
его покачивая, норовя повернуть боком.*

(«Тихий Дон», кн. I, часть I, гл. II).

YMCA-PRESS
11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève
75005-PARIS

© WORLD COPYRIGHT BY YMCA-PRESS 1974

Невырванная тайна

Предисловие к публикации

С самого появления своего в 1928 году «Тихий Дон» протянул цепь загадок, не объясненных и по сей день. Перед читающей публикой проступил случай небывалый в мировой литературе. 23-х-летний дебютант создал произведение на материале, далеко превосходящем свой жизненный опыт и свой уровень образованности (4-х-классный). Юный продкомиссар, затем московский чернорабочий и делопроизводитель домоуправления на Красной Пресне, опубликовал труд, который мог быть подготовлен только долгим общением со многими слоями дореволюционного донского общества, более всего поражал именно вжитостью в быт и психологию тех слоев. Сам происхождением и биографией «иногородний», молодой автор направил пафос романа против чуждой «иногородности», губящей донские устои, родную Донщину, – чего, однако, никогда не повторил в жизни, в живом высказывании, до сегодня оставшись верен психоло-

гии продотрядов и ЧОНа. Автор с живостью и знанием описал мировую войну, на которой не бывал по своему десятилетнему возрасту, и гражданскую войну, оконченную, когда ему исполнилось 14 лет. Критика сразу отметила, что начинающий писатель весьма искушен в литературе, «владеет богатым запасом наблюдений, не скупится на расточение этих богатств» («Жизнь искусства», 1928, № 51; и др.). Книга удалась такой художественной силы, которая достижима лишь после многих проб опытного мастера, – но лучший 1-й том, начатый в 1926 г., подан готовым в редакцию в 1927-м; через год же за 1-м был готов и великолепный 2-й; и даже менее года за 2-м подан и 3-й, и только пролетарской цензурой задержан этот ошеломительный ход. Тогда – несравненный гений? Но последующей 45-летней жизнью никогда не были подтверждены и повторены ни эта высота, ни этот темп.

Слишком много чудес! – и тогда же по стране поползли слухи, что роман написан не тем автором, которым подписан, что Шолохов нашел готовую рукопись (по другим вариантам – дневник) убитого казачьего офицера и использовал его. У нас, в Ростове н/Д. говорили настолько уверенно, что и я, 12-летним мальчиком, отчетливо запомнил эти разговоры взрослых.

Видимо, истинную историю этой книги знал, понимал Александр Серафимович, донской писатель преклонного к тому времени возраста. Но, горячий приверженец Дона, он более всего был заинтересован, чтобы яркому роману о Доне был открыт путь, всякие же выяснения о каком-то

«белогвардейском» авторе могли только закрыть печатание. И, преодолев сопротивление редакции «Октября», Серафимович настоял на печатании романа и восторженным отзывом в «Правде» (19 апр. 1928 г.) открыл ему путь.

В стране с другим государственным устройством всё же могло бы возникнуть расследование. Но у нас была в зародыше подавлена возможность такого – **пламенным** письмом в «Правду» (29.3.29, прилагается к нашей публикации) пяти **пролетарских** писателей (Серафимович, Авербах, Киршон, Фадеев, Ставский): разносчиков сомнений и подозрений они объявили «врагами пролетарской диктатуры» и угрожали «судебной ответственностью» им – очень решительной в те годы, как известно. И всякие слухи – сразу смолкли. А вскоре и сам непререкаемый Сталин назвал Шолохова «знаменитым писателем нашего времени». Не поспоришь.

Впрочем, и по сегодня живы современники тех лет, уверенные, что не Шолохов написал эту книгу. Но, скованные всеобщим страхом перед могучим человеком и его мезью, они не выскажутся до смерти. История советской культуры вообще знает немало случаев плагиата важных идей, произведений, научных трудов – большей частью у арестованных и умерших (доносчиками на них, учениками их) – и почти никогда правда не бывала восстановлена, похитители воспользовались беспрепятственно всеми правами.

Не укрепляли шолоховского авторитета, не объясняли его темпа, его успеха и печатные публикации: о творческом ли его распорядке (Серафи-

мович о нем: работает только по ночам, так как днем валом валят посетители); о методе ли сбора материалов – «он часто приезжает в какой-нибудь колхоз, соберет стариков и молодежь. Они поют, пляшут, бесчисленно рассказывают о войне, о революции...» (цит. по книге И. Лежнева «Михаил Шолохов», Сов. пис. 1948); о методе обработки исторических материалов, о записных книжках (см. далее нашу публикацию). А тут еще: не хранятся ни в одном архиве, никому никогда не предъявлены, не показаны черновики и рукописи романа (кроме Анатолия Софронова, свидетеля слишком **характерного**). В 1942 г., когда фронт подошел к станции Вешенской, Шолохов, как первый человек в районе, мог получить транспорт для эвакуации своего драгоценного архива предпочтительнее перед самим райкомом партии. Но по странному равнодушию это не было сделано. И весь архив, нам говорят теперь, погиб при обстреле.

И в самом «Тихом Доне» более внимательный взгляд может обнаружить многие странности: для большого мастера необъяснимую неряшливость или забывчивость – потери персонажей (притом явно любимых, носителей сокровенных идей автора!), обрывы личных линий, вставки больших отдельных кусков другого качества и никак не связанных с повествованием; наконец, при высоком художественном вкусе места грубейших пропагандистских вставок (в 20-е годы литература еще к этому не привыкла). Да даже и одноразовый читатель, мне кажется, замечает некий неожиданный перелом между 2-м и 3-м томом, как будто автор начинает

писать другую книгу. Правда, в большой вещи, какая пишется годами, это вполне может случиться, а тут еще такая динамика описываемых исторических событий. Но вперемежку с последними частями «Тихого Дона» начала выходить «Поднятая целина» – и простым художественным ощущением, безо всякого поиска, воспринимается: это не то, не тот уровень, не та ткань, не то восприятие мира. Да один только натужный грубый юмор Щукаря совершенно несовместим с автором «Тихого Дона», это же сразу дерёт ухо, – как нельзя ожидать, что Рахманинов, сев за рояль, станет брать фальшивые ноты.

А еще удивляет, что Шолохов в течение лет давал согласие на многочисленные беспринципные правки «Тихого Дона» – политические, фактические, сюжетные, стилистические (их анализировал альманах «Мосты», 1970, № 15). Особенно поражает его поущение произведенной нивелировке лексики «Тихого Дона» в издании 1953 г. (см. «Новый мир» 1967, № 7, статья Ф. Бирюкова): выглажены многие донские речения, так поражавшие при появлении романа, заменены общеупотребительными невыразительными словами. Стереть изумительные краски до серятины – разве может так художник со своим кровным произведением? Из двух матерей оспариваемого ребенка – тип матери не той, которая предпочла отдать его, но не рубить...

На Дону это воспринимается наименее академично. Там не угасла, еще сочится тонкою струйкой память и о прежнем донском своеобразии и о прежних излюбленных авторах Дона, первое место

среди которых бесспорно занимал **ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ КРЮКОВ** (1870-1920), неизменный сотрудник короленковского «Русского богатства», народник по убеждениям и член 1 Государственной Думы от Дона. И вот в 1965 г. в ростовской газете «Молот» (13.8.65) появилась статья В. Моложавенко «Об одном незаслуженно забытом имени» – о Крюкове, полвека запретном к упоминанию за то, что в гражданскую войну он был секретарем Войскового Круга. Что именно хочет выразить автор подцензурной пригнетенной газетной статьи, сразу понятно непостороннему читателю: через донскую песню связывается Григорий Мелехов не с мальчишкой-продкомиссаром, оставшимся разорять станицы, но – с Крюковым, пошедшим, как и Мелехов, в тот же **отступ** 1920 года, досказывается гибель Крюкова от тифа и его предсмертная тревога за **заветный сундучок** с рукописями, который вот достанется невесть кому: «словно чуял беду, и наверно не напрасно»... И эта тревога, эта боль умершего донского классика выплыла через полвека – в самой цитадели шолоховской власти – в Ростове-на-Дону!.. И не так-то скоро **организовали** грубое «опровержение», опять партийный окрик, опять из Москвы – через один год и один день. («Советская Россия», 14.8.66, «Об одном незаслуженно возрожденном имени»).

Конечно, на шестом десятке лет всякое юридическое расследование этой литературной тайны скорее всего упущено, и уже не следует ждать его. Но расследование литературоведческое открыто всегда, не поздно ему произойти и через 100 лет

и через 200, – да жаль, что наше поколение так и умрет, не узнав правды.

И я был очень обнадежен, что литературовед высокого класса, назовем его до времени Д*, взялся, между многими другими работами, еще и за эту. Западу, где не принято выполнять никаких работ бескорыстно, будет особенно понятно, что Д* не мог слишком много времени тратить на работу, которая его не кормила. Поймет и Восток хорошо: на-работу, которая могла обнаружить Д* и привести к разгрому всей его жизни. Работая урывками, хотя и не один год, Д* сперва вошел в материалы, открыл общий план возможной работы, создал гипотезу о вкладе истинного автора и ходе наслоений от непрошенного «соавтора» и поставил своей задачей отслоить текст первого от текста второго. Д* надеялся окончить работу реконструкцией истинного первоначального авторского текста с пропуском недописанных автором кусков или утерянных в «соавторской переработке».

Увы, он написал лишь то, сравнительно немного, что публикуется сегодня здесь – несколько главок, не все точно расставленные на места, с неубранными повторениями, незаполненными пробелами.

В самые последние месяцы тяжелой болезни работа Д* разогналась, и за месяц до смерти он писал мне:

«За весну и лето, несмотря на всевозможные помехи, сделал три новые главы, которыми, наконец, завершилась (удовлетворяя) часть историческая. Эти главки нужно сейчас только подтесать и угладить, к чему, надеюсь, уже помех не будет.

Тогда срочно начинаю приводить в порядок часть вторую (поэтику). Исподволь в простом карандаше делаю задуманную реставрацию, пока только композиционную. Фразеологический и лексический отстой сам собою сделается после поэтики. Исторический комментарий получает другое назначение. Он будет не так, как я раньше полагал – лишь опорой моего исследования. Он явится необходимым добавлением к самому произведению.

Верю, что к весне завершу задуманное, и, как никогда раньше, понимаю важность именно этой первой части моей работы. Дело ведь не в разоблачении одной личности и даже не в справедливом увенчании другой, а в раскрытии исторической правды, представленной поистине великим документом, каким является изучаемое сочинение. Это дело я уже не могу не довести до конца. Верю, что доведу.

Что касается детектива, то я решил составить краткий конспект этой второй своей книги с приложением собранной документации (библиографии и т.п.), а также и написанных глав – двух. Это, равно как и резюме, будет «Приложением» ввиду кончины автора. В кратком сообщении издателя будет сказано, что есть надежда найти 2-ю часть в завершённом виде. Вдруг мой век продлится, и эта книга окажется написанной? Посмертно найденная рукопись составит вторую книгу. Таковы планы».

Но не только всего этого не выполнил Д*, а умер среди чужих людей, и нет уверенности, что не пропали его заготовки и труды последних месяцев.

В который раз история цепко удержала свою излюбленную тайну.

Я сожалею, что еще сегодня не смею огласить

имя Д* и тем почтить его память. Однако, придет время.

Но даже по этим, приносимым читателю, разно-временным и разночастным осколкам, уже многое ясно. Добросовестному и способному литературоведу открыт путь довести этот замысел до того состояния, о котором мечтал умерший исследователь и которое так необходимо читателям: читать эту великую книгу наконец без сумбурной наслоенности вставок, искажений, опусков – вернуть ей достоинство неповторимого и неоспоримого свидетеля своего страшного времени.

Цель этой публикации – призвать на помощь всех, кто желал бы помочь в исследовании. За давностью лет, за отсутствием вещественных рукописей нынешняя постановка вопроса – чисто литературоведческая: изучить и объяснить все загадки «Тихого Дона», помешавшие ему стать книгой высшей, чем она сегодня есть – загадки его неоднородности и взаимоисключающих тенденций в нем.

Если мы не проанализируем эту книгу и эту проблему – чего будет стоить всё наше русское литературоведение XX века? Неужели уйдут все лучшие усилия его только на казенно-одобренное?

А. Солженицын

Январь 1974 г.

100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Анализ перед написанием работы

Анализ структуры произведения, его идейной и поэтической сути устанавливает в нем **наличие двух, совершенно различных, но сосуществующих авторских начал.**

Эталон для отслойки одного от другого устанавливается по **первым двум книгам романа, которые в целом принадлежат перу автора – создателя эпопеи.**

Здесь характернейшим является поэтическая интерпретация фольклорной темы, определившей самое «сцепление мыслей» (Толстой), т.е. поэтический замысел-образ и героев произведения. Четко выраженным качеством данной исторической хроники является та живая и документальная точность, которая дается хорошим пониманием истории, а здесь и явным, авторским соучастием в событиях и органической связью с изображенным бытом.

Если говорить о духовной сути эпопеи, то здесь наличие несколько расплывчатого, но **высокого гуманизма и народолюбия, которые характерны**

для русской интеллигенции и **русской литературы 1890-1910 годов**. Что касается политических воззрений, то сепаративизм здесь очевиден, но идея его, если так можно выразиться, размыта, облагорожена поэтическим источником эпопеи, понятиями о свободе, заключенными в фольклоре (исторических песнях). Для стиля (в узком смысле) характерно соединение бытописательской манеры, ее этнографической достоверности – с импрессионизмом свободной живописности. Своеобразие языка определено органичностью для автора донского диалекта, свободно применяемого как в прямой речи персонажей, так и в авторском слове с умелой ассимиляцией диалектной лексики и фразеологии. Этот народный язык (без малейшего признака нарочитой стилизации) мастерски сочетается с интеллектуальной речью писателя.

Применение эталона поэтики автора легко отслаивает речь «соавтора», не имеющую ни одного из перечисленных признаков (а потому и не могущую быть принятой, как авторская).

Сочинения «соавтора» разительно отличаются от написанного автором-создателем. Для **сочиненного «соавтором»** прежде всего **характерна полная независимость от авторского поэтического замысла-образа**, причем никакое другое поэтическое «сцепление мыслей» не перекрывает этого исконного замысла. Здесь **нет поэтики, а есть лишь отправная, голая политическая формула**, из которой исходит «соавтор» в своих сюжетах и характеристиках. **Эта формула** (великие идеи коммунизма в России должны уничтожить косный

сепаративизм) – прямо противоположна мыслям автора-создателя.

В той мере, в какой автор является художником, – «соавтор» – публицистом-агитатором. «Соавтор» не изображает события, а излагает их, не живописует движение мыслей и чувств героев, а оголенно аргументирует. **Язык «соавтора»,** даже безотносительно к своеобразию лексики и фразеологии автора, – отличается бедностью и даже **беспомощностью, отсутствием профессиональных** беглости и грамотности. Характерно, что в своей попытке стилизоваться под автора «соавтор» особенно выдает себя. Он не владеет диалектом, а тем самым персонажи его говорят на каком-то вымученном языке, в состав которого входят и диалектные речения, характерные для быта и газетной литературы 1920-1930 г.г. Стилизуя описания природы и обстановки под описательные эскизы автора, «соавтор» зачастую создает нечто карикатурно безграмотное или нелепое, а главное – не имеющее связи с героями и событиями, меж тем как у автора эти картины являются своеобразной символикой происходящего. «Соавтор» настолько не задумывается над своей фразеологией, что даже когда цитирует народные речения или поговорки, не может их переосмыслить или перевирает их. Уникальная коллекция «соавторских» безграмотностей занимает в данном исследовании ряд страниц, чтение которых дает полное представление о литературной беспомощности «соавтора». Таковы данные – результат анализа текста.

В части текста, принадлежащего автору-созда-

телю, анализ приводит к следующим выводам:

Книги первая и вторая представляют собой свершенную часть романа, дошедшую до нас, однако, **с некоторыми изъятиями** (несколько глав), о чем можно судить по некоторым лакунам в ходе повествования, в целом отличающегося медленным и глубоко взятым разворотом эпическим. Наряду с лакунами **в тексте повествования имеются и вставные главы**, сюжеты, персонажи и стиль которых резко выделяются на фоне основных глав, как текст инородный, автору не принадлежащий.

Ряд основных, наиболее впечатляющих и художественно полноценных глав и фрагментов третьей и четвертой книг романа также принадлежат автору-создателю, из чего следует, что историческая хроника событий охватывает время 1911 – начало 1920-х г.г. Однако метод обработки этих глав, монтаж третьей и четвертой книг, сделанный «соавтором», свидетельствует о том, что в руках его были лишь отдельные куски, наброски и материалы из принадлежащего замыслу, который полностью осуществлен не был. О том, что связующие звенья и вся финальная часть романа написаны «соавтором», говорит редкий разницей между главами, катастрофическая непоследовательность написанного «соавтором», в отношении к основному поэтическому замыслу-образу. Непоследовательность эта исказила художественный замысел всей эпопеи.

Необходимость монтировать произведение (все его части) в соответствии с иной идеологией, противоположной идее автора-создателя, **побудила «соавтора»** ко многим изъятиям и вставкам, а сле-

довательно не только к сочинительству, но и к использованию **накопленных ценнейших материалов** исторической хроники, связанных с местным бытом, событиями русско-германской войны, двух революций и гражданской войны. Однако ни изъятия, ни вставки не лишили произведения того «сцепления мыслей», которое в художественном создании выражено не прямыми высказываниями, а всем изображением в целом.

Деятельность «соавтора», как выясняет анализ текста, заключалась в следующем:

а) в редактировании (идейном) авторского текста, с изъятиями глав, страниц, отдельных строк, не соответствующих идейной установке «соавтора». **б) во вклинивании** в текст ряда глав собственного («соавторского») сочинения, составившего в романе особую идеологическую зону. **в) в компиляции глав и фрагментов авторского текста** путем скрепления их текстом соавторского сочинения. **г) в использовании в соавторском тексте материалов автора** (исторических документов и сводок событий, а также различных записей-заготовок).

Привожу суммарный итог прослоек авторского и «соавторского» текстов. Идеологическая зона, созданная «соавтором» и вклиненная в авторский текст первой и второй книг романа, занимает следующие 12 небольших глав (из 76): I, 2, IV;² I, 2, IX;

1. О чем следует помнить при рассмотрении *всей* литературной продукции «соавтора».

2. Здесь и в дальнейшем изложении последовательность трех цифр означает соответственно номер книги, части, главы.

II, 4, II (частично)³; II, 5, IV (частично); II, 5, V-VII; II, 5, XVI-XVII; II, 5, XIX-XX; II, 5, XXV.

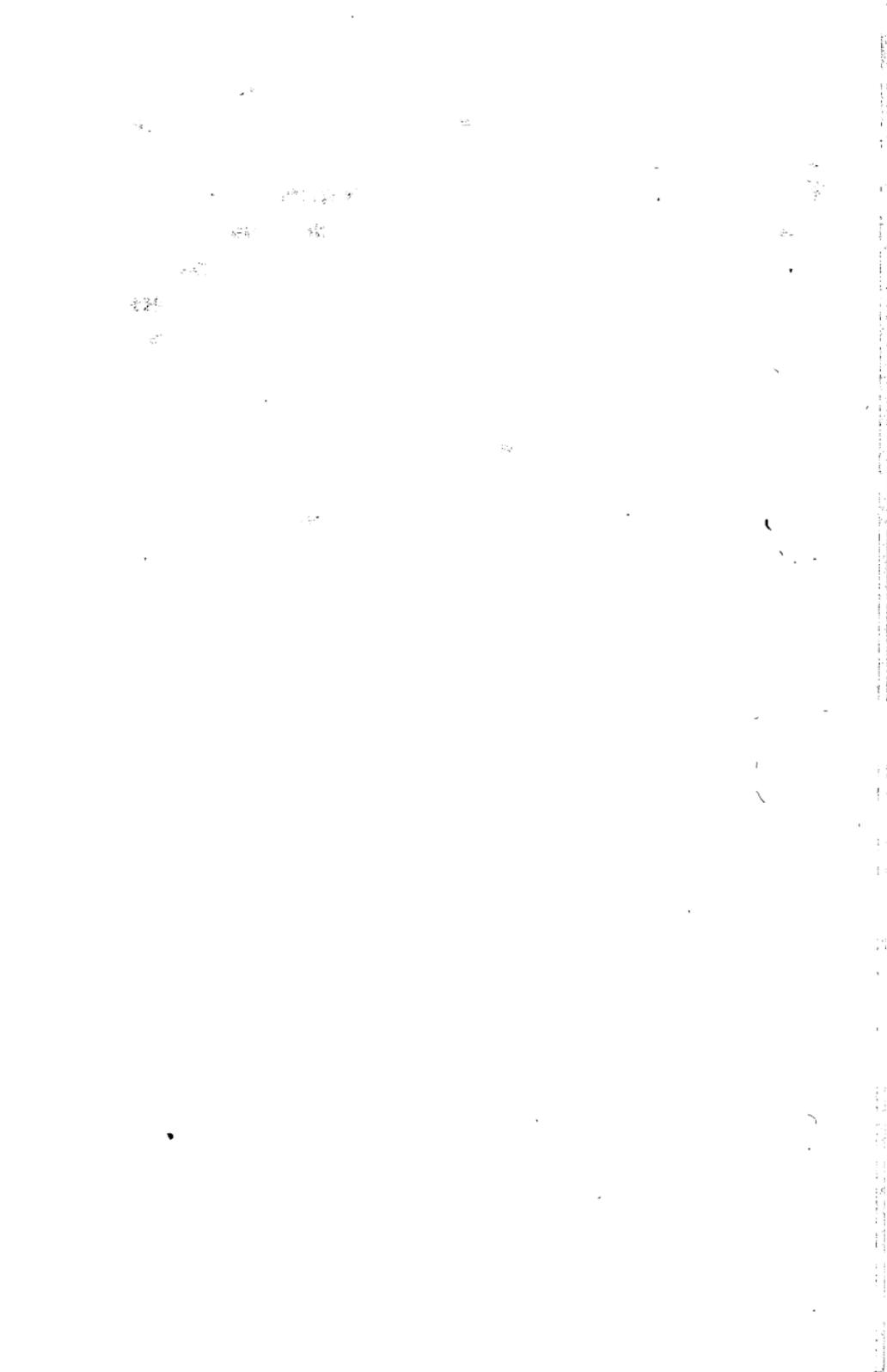
Книги третья и четвертая, как уже было сказано, представляют собой монтаж, сделанный «соавтором». Здесь привожу лишь список тех глав, которые явно не принадлежат последнему: III, 6, I-II (частично); III, 6, IV; III, 6, VI (частично); III, 6, VIII-XIII (частично); III, 6, XIV; III, 6, XXIV (начало); III, 6, XXXIV (частично); III, 6, XII; III, 6, XIV; III, 6, XVI-XVII (частично); III, 6, III (частично); III, 6, VIII (частично); III, 6, IX-X; III, 6, XI (частично); III, 6, XIII (частично); III, 6, XIV-XV (частично); IV, 7, I-II (частично); IV, 7, IV-XII (частично); IV, 7, XV-XXV (частично). В тексте третьей и четвертой книг кроме этого – множество отдельных страниц или абзацев, которые принадлежат автору, но инкорпорированы в состав «соавторского» текста (таковы, например, два первых абзаца XXIV главы кн. III, ч. 6-ой). Размер и отрывочность некоторых глав показывают, что «соавтор» иногда использовал авторские фрагменты, не поддающиеся соединению с его текстом, – в качестве самостоятельных глав. Таковы варианты сосуществования двух текстов в третьей и четвертой книгах, где все же превалирует (количественно) авторское слово (68-70% всего текста), тогда как в первых двух книгах авторский текст занимает свыше 95% всего романа.⁴

3. Те главы, которые помечены как частично принадлежащие автору – либо обладают вставками (идеологического характера), либо представляют собой объединение авторского фрагмента с «соавторским» текстом, местами более обширным, чем авторский.

4. Процентное соотношение авторского и соавторского текста подлежат еще большему уточнению.

Детективная часть данного исследования **прямо вытекает из аналитической**. Причем, дальнейший розыск определяется безусловными факторами. Здесь выясняется, что первые две книги, **наиболее сложные**: по наблюдениям психологическим, по работе над исторической документацией (ход и обстоятельства войны с Германией, развала фронта и причин обеих революций), а также по предварительному изучению быта, этнографических и фольклорных данных и изучению диалекта – **написаны в срок меньший, чем два года**. Это со всей подготовительной работой! Причем написаны и подготовлены не многоопытным литератором, а юношей в возрасте 20-22 лет (рожд. 1905 г.). Думается, что эти сведения, свидетельствующие о сверхгениальности, достаточно хороший толчок к дальнейшим розыскам детективного характера.

-
5. Можем ли мы вообразить, что Пушкин в этом возрасте написал свою «Капитанскую дочку» и «Историю Пугачевского бунта», а Лев Толстой – «Войну и мир»?



Предполагавшийся план книги

ГЛАВА АНАЛИТИЧЕСКАЯ

- I. О чертеже монументальном и встречающихся в нем противоречиях
 - Пролог
 - Идейная суть и герои исторической хроники
 - Своеобразие поэтики
 - Наблюдения и материалы
- II. О странностях текста
 - Поверх «сцепления мыслей»
 - Сюжеты и персонажи *иногородние*¹
 - Повернут боком* (выводы)

ГЛАВА ДЕТЕКТИВНАЯ

- I. Возможно ли?
 - Цифры и только цифры
 - Жизнь и творчество «автора» в начале 1920-х г.г.
 - Так не был ли найден клад?

¹1. Курсивом здесь и в дальнейшем изложении подчеркнуты цитаты из исследуемого романа.

- II. Донщина в русской литературе 1890-1910 г.г.
Каким же «материалом переполнен до чрезвычайности» один известный писатель весной 1917-го года?
«Изобразитель простонародной души и жизни»
О чем говорит россыпь архивов и печать
- III. Гипотезы на основе неопровержимого
Находка № 1
Находка № 2 (*terra incognita*)
Методы получения нужного облика
Остатки – сладки, хватило по сей день

ГЛАВА ПОЛИТИЧЕСКАЯ

- I. Идеологизм – питательная среда для плагиатов
Плагиат с облыганием, как система

ГЛАВА АНАЛИТИЧЕСКАЯ

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ И ГЕРОИ РОМАНА

Если оглядеть огромное сооружение романа «Тихий Дон», как оглядываешь ландшафт города, с птичьего лету – бросится в глаза разноречивой двух несогласуемых стилей. Выявится монументальный чертеж изначального замысла, увидится разброс незавершенного, а также обозначатся явственно последующие чужеродные влиянья, которые не отменяя созданного, пытаются перекрыть его новой постройкой.

Толстый роман подобен городу, который можно изучать, начав с обозрения ландшафта, строений и углубляясь постепенно в его внутреннюю жизнь. Первый, совсем поверхностный просмотр фабулы

(кто с кем, зачем, кто кого любит и т.п.) останавливает внимание на тех, казалось бы, чисто внешних мелочах, наблюдения над которыми потом, при углубленном чтении, вдруг оказываются полезными для читательских выводов, дают ориентир.

На пороге углубленного чтения романа Шолохова остановимся на строении его четырех книг, разделенных на восемь частей, с двухстами тридцатью главами. Главы эти в первых четырех частях распределены пропорционально (около 22-х, в среднем, на каждую часть), а начиная с пятой части эта стройная равномерность утрачивается. Пятая часть романа вмещает как бы встроенный в основное здание сюжет – любовные переживания (сочетаемые с революционной деятельностью) одного из персонажей романа Ильи Бунчука, и эти-то не сведенные с основным сюжетом главы и нарушают пропорцию. В этой части – 31 глава. В дальнейших частях романа гармоническое распределение глав и вовсе нарушено, – и количественно и по перемежению огромных глав с мизерно малыми.

Так, в шестой части (книга III) – 65 глав, не считая 15 подглавок, отмеченных звездочками. Следующая, седьмая часть разделена на 29 глав, а восьмая имеет всего – 18.

Ход повествования в шестой, седьмой и восьмой частях последних двух книг романа (3-4) – чрезвычайно прерывист по сравнению с предшествующими, где только вышеозначенные главы «романа Бунчука» кажутся несколько неожиданными. Здесь нет вклиненных «романов», но зато есть непрерывное и столь же незакономерное перемежение глав

художественного повествования со вставками политических обозрений, выводов, заключений. Не говоря о том, что эти деловые вставки зачастую противоречат изображению художественному (о чем см. ниже) – самое наличие этой публицистики карежит стилевую манеру автора, затрудняет восприятие повествуемого.

Проглядывая эту публицистику третьей и четвертой книги, приходишь к выводу, что иногда она служит цели выправления первоначальной идеологической линии, а иногда – всего лишь заполнению пустот, по какой-то причине отсутствующих фрагментов повествования.

Заполнению каких-то лакун служат иногда и художественные главы, имеющие фрагментарный характер, а подчас выглядящие набросками. Примером такого неожиданного заполнения пустоты являются, например, две замечательных по художественной силе картины *отвода* заповедной степи с выпасом станичных коней. (Кн. III, ч. 6, гл. III и IV). По непонятным причинам начало этой картины дано в конце второй главы (вторая подглавка, отбитая звездочками), а продолжение, явно оборванное и сигнализирующее о какой-то связи замысла с другими частями, – в главах третьей и шестой, причем пресловутые звездочки¹ в этой последней главе указывают на ее отрывочность. Впрочем вся глава производит странное впечатление оборванностью темы (великолепного образа конского табуна

1. Звездочки, проставленные внутри многих глав романа – вехи каких-то изъятий или вставок в текст.

и характера стареющего жеребца Бахаря). Здесь и в других местах этих фрагментов наличествует некая символика, утраченная в последующих соединениях.

От третьей и четвертой книг романа мы естественно ждем продолжения начатого, т.е. повествования о развороте стихийно возникшего в мае 1918-го повстанческого и партизанского движения на Дону, создавшего к весне следующего года, казалось бы, непреодолимый клин на пути Красной армии к южному фронту (т.е. Донцу, где в 1919-м расположилась Донская армия с соединениями армии Добровольческой).

И действительно, если задавшись целью рассмотреть восстание, как художественный образ, запечатленный автором с истоков движения до его распада, мы станем читать внимательно, главу за главой, – то образ этот окажется видимым и четким на протяжении всей третьей книги, а также и четвертой, по 28-ю главу включительно. Затем, за пределом означенной главы, мы как будто теряем нить, однако неожиданно и судя по историческому ходу событий неуместно, обнаруживаем фрагменты повстанческой эпопеи уже и в финальной, восьмой части книги четвертой (IV, 8, XI-XVII).

Но четкость хода повествования, повидимому, здесь обусловлена четкой работой читателя, который вынужден продираться сквозь чащу нивесть откуда явившихся посторонних нагромождений, вынужден, если можно так выразиться – срезать обходные тропы, противоречащие направлению тропы столбовой.

Почти в каждой главе книг третьей и четвертой мы наталкиваемся на необъяснимую непоследовательность, противоречия и петляние вокруг главной мысли, попытку *доказать* нечто противоположное тому, что уже довольно ясно *показал* художник-автор.

Впечатление о замысле и художественной манере автора складывается уже по начальным главам, и сознание внимательного читателя травмируется резкими толчками отмены этого художественного принципа, начиная с 4-й главы второй части первой книги замененного стилем иных измерений. По ходу двух книг романа читатель невольно производит отстой текста, нарушающего характерную авторскую речь. Здесь и новые, или явно искореженные последующими наслоениями, персонажи, приметно выпадающие из первоначального замысла, и повороты персонажей в сторону, противоположную той, куда они были направлены поначалу. Такое властное вмешательство в текст мог позволить себе, казалось бы, лишь сам автор романа, затеявший с самим собой какой-то странный спор, непрерывную отмену своих собственных мыслей, своей поэтики. Этот несогласный с автором его двойник-соавтор в нашем исследовании, повидимому, будет неоднократно упомянут, для чего требуется как-то его обозначить. Двойник-соавтор? Остановимся на этом названии как на условном термине, до той поры, пока не будет разгадана загадка текста романа. А загадка задана уже и беглым просмотром.

Однако вопрос о «соавторстве» сложен и требует всестороннего анализа.

Прежде всего необходимо понять решившее

роман «Тихий Дон» поэтическое «сцепление мыслей»² автора. Только в сфере этого «сцепления», т.е. определяющего художественного образа, могут выявиться идейные переосмысления, изменения в характеристиках персонажей, положениях и действии. Может и должна произойти реставрация романа и выявление отсоя (т.е. тех врезок и лакун, которые пока лишь интуитивно угадываются). Такой результат несомненно подведет нас вплотную к проблеме автора.

Мог ли сам автор, переосмыслив свой замысел так, что его новые мысли не уложились в прежнее «сцепление», тем не менее упорно сохранять прежний художественный образ и всё связанное с ним, т.е. объединить безобразное с образным?

Не есть ли это соединение механическое, а следовательно, не является ли оно признаком того, что действовал здесь не автор, а какое-то другое лицо, помимо его воли? Утвердительный ответ на последний вопрос даст нам право говорить о «соавторе» – как о преступнике, искажившем создание автора, и перейти к поискам уже не аналитического, а детективного характера.

Поверхностный взгляд дает лишь толчок к изучению, интуитивно ориентируя в наличии *двух начал*, сосуществующих в романе. Прежде чем утверждать что-либо, необходимо углубиться в каждую из четырех книг, во все двести тридцать глав этого сочинения.

2. «Сцепление мыслей» по Толстому есть тот поэтический образ, которым решен замысел произведения, выражена его главная и вытекающая из нее мысль. (см. письмо Л.Н. Толстого Н.Н. Страхову между 23-26 апреля 1876 года).

Первые четыре странички «Тихого Дона» обла- дают весомостью пролога.

Пролог повествует о кровавом истоке *турков Мелеховых*. Здесь вскрыт корень семьи, а с тем и коренные черты донского казачества. Из этих типовых характеров и пойдет лепка персонажей донской эпопеи.

Здесь начало *звероватости* Григория Мелехова и прямого звероподобия казачьей массы в расправе с врагом, в семейном и круговом деспотизме, отъединенности бытия, нетерпимости ко всему ИНОГО-РОДНЕМУ.³

Но в сгустке характерного, явленном в прологе, означены и черты первоизданной силы и великого простодушия. В прологе дан и генезис своеобразных черт Мелеховых; от деда – к внуку: их упрямая повадка и душевная мягкость, углубленная мужест- вом. Не боясь насмешек и злого суда станичников, Прокофий: *...вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского ажник кургана. Сажал ее там на макушке кургана... садился с ней рядом и так подолгу глядели они в степь... потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой. Хутор* (Татарский, откуда и пошли Мелеховы и потекло повествование «Тихого Дона»–D. * *терялся в догадках, подыскивая объяснения таким диковинным поступкам.* Так среди солончаковых, жестоких и горьких трав, курганных булыжников Обдонья возникали родники любви, которая и воспета в этой исторической эпопее.

3. Само название: *иногородние* было утверждено вековой администрацией казачьих поселений и означало непринадлежность ни к какому станичному юрту, т.е. войсковой территории казаков, их станицам с хуторами, составляющими юрт.

ПРОМЕЖ СЕБЯ

Все четыре книги романа – история жизни донского казака Григория Мелехова, но разворот событий сам собою решает судьбы героя. Сто тридцать персонажей, действующих или появляющихся эпизодически, – прямо или косвенно связаны с Доном, с хутором Татарским, принадлежащим станице Вешенской, с куренем семьи Мелеховых. Здесь и прямые спутники Григория, и те, которые лишь участвовали в решении судеб Области Войска Донского.

Хроника русско-германской войны 1914-1917 годов и двух революций в России дана с такой последовательной отчетливостью и точностью, что составляет своего рода энциклопедию этих исторических событий. Но энциклопедия эта своеобразна: всё вмещено в малый (по сравнению со всей Россией) диапазон Области Войска Донского – края, который доселе оставался землей неизвестной, terra incognita, несмотря на довольно изрядное количество повестей и рассказов о донцах (литературы, явившейся в XIX веке в качестве дани народничеству).

Ведущая тема романа сформулирована словами казачьей песни о *тихом Доне* (отсюда и заглавие)

...Но и горд наш Дон, тихий Дон, наш батюшка,
 Басурманину он не кланялся,
 У Москвы, как жить, не спрашивался.

.....

А из года в год степь донская, наша матушка...
...за вольный Дон, что волной шумит,
в бой звала с супостатами...

Слова эти вложены в уста казачьего офицера Атарщикова в момент острейший для судеб России и тихого Дона, и им, казалось бы, а не другим стихам той же песни надлежало быть эпиграфом к роману.

Согласно авторскому замыслу, не только самые события войны и революции взяты, так сказать, в донском повороте, в фокусе «тихого Дона», но и персонажи исторические,² лица, принадлежащие истории России. Выразительным примером этой цельности и целокупности³ авторского замысла является портрет Николая Второго, набросанный как бы вскользь, но выражающий трагическую ситуацию развала (фронта, имперской власти) и революционного хаоса. набросок портрета царя, – четок и блистателен именно своей художественной уместностью в ходе повествования, подчиненностью донской теме. Портрет запечатлелся в сознании казачьего офицера Листницкого – это, так сказать, моментальная съемка мелькнувшей за окном автомобиля фигуры бывшего самодержца: *(...За стеклом, кажется, Фредерикс и царь, откинувшийся на спинку сиденья. Обуглившееся лицо его с каким-то фиолетовым оттенком. По бледному лбу*

1. Жизнь донщины в соотнесении с российской действительностью развернута в исторической хронике «Тихий Дон» с начала 1910-х годов по 1919 гол.
2. См. о них в разделе: «Исторические справки».
3. Выражение Достоевского, удачно определившего четкую собранность ведущих к цели аргументов.

косой, черный полукруг папахи, формы казачьей конвойной стражи. Листницкий почти безжал мимо изумленно оглядывавшихся на него людей. В глазах его падала от края черной папахи царская рука, отдававшая честь, в ушах звенел бесшумный холостой ход отъезжающей машины и унижительное безмолвие толпы, молчанием провожавшей последнего императора. II,4,X).

Казачья папаха, ее косой черный полукруг – символ связи российского императора с казачьими войсками, оказавшимися столь ненадежной опорой российского трона. Для силуэта царя, уходящего с исторической арены, взят особый аспект, присущий данной хронике: ничего лишнего, к теме неприкасаемого. Так же даны и все те исторические лица, деятельностью которых означена эпоха гражданской войны в России. Керенский, Корнилов, Деникин, Алексеев, Романовский появляются или упоминаются в романе как лица, так или иначе воздействовавшие на ход братоубийственных сражений за Дон. Между тем, зарисовки переговоров Каледина с Корниловым, выступления Каледина в Новочеркасске, смерть его, портреты преданных и случайных соратников дают глубинную прорисовку соотношения сил и обстановки в толще масс, которыми проясняется многое в истории русской революции и становлении Советской власти. Ограниченность диапазона в романе обладает качеством углубленного рассмотрения событий всероссийских.

В первых двух книгах «Тихого Дона» многообразно показаны предпосылки политической идеи самостоятельности Области Войска Донского, так или иначе вдохновлявшего донщину в ее борьбе с боль-

шевиками, а также и с белой гвардией, которая напрасно надеялась опереться на казачество. Монархические, либеральные и социалистические идеи всероссийского масштаба были для казачьей массы всё те же: *Москва, у которой вольный Дон... как жить не спрашивался*. Иногородность, чужеродность идей *Москвы* (Петербурга), так сказать, заклинена в первой и второй книгах романа в типических характерах казачества – и того поколения, которое участвовало в русско-германской войне, и старшего поколения, которое еще вершило общественную жизнь донских станиц. Вольный дух, *гордость* казака в начальных главах романа показана в ее диковатом, клановом выражении. Бахвальство и нетерпимость в различных своих проявлениях как бы карикатурят *гордость* казака. Смешному, подчас уродливому понятию казачества о превосходстве казаков над *мужиками* и всеми *иногородними* посвящены многие сильные страницы хроники.

Так, соревнование в конских бегах меж молодым казаком Коршуновым и русским дворянином Листицким кончается победой доброго донского коня над призовой петербургской кобылой (I,1,VIII), и это наполняет гордостью не только победителя, но и всю станицу. Тот же Митька Коршунов *огуливает* модную барышню, дочь местного русского богатея Мохова (родом из *иногородних*, царских досмотрщиков на Дону, что и подчеркнуто), и при этом ловкий казак и его почтенный дед (Гришака) глубоко уверены, что родитель девицы *за честь должен принять, что за его дочерью сын казака сватается...* (I,2,II). В первой же книге происходит и по-

боище, учиненное казаками на мельнице. Казаки кидаются на *иногородних*: *хохлов, тавричан* и бьют-убивают зверски (... *Над мельничным двором тягуче и хрипло плыло: Г-у-у-у... А-я-я-а-а-а-а. Хряск. Стук. Стон. Гуд. У дверей весовой лежал с проломленной головой молодой тавричанин, разводя ногами, окунал голову в черную спекиющуюся кровь, кровавые сосульки волос падали на лицо, как видно, отходил свое по голубой, веселой земле... I,2,V*).

Но не одни лишь азартные или скандальные эпизоды и характеры показаны предпосылками грядущей борьбы, но прежде всего тот дух независимости, который явлен в предках героя и в нем самом, и в простодушном Христоне, и в упрямом Подтелкове, и даже в таком казаке, каков старший Коршунов (дед Гришака, не пожелавший служить в ординарцах у генерала Гурко I,1,XIX). И здесь по ходу анализа нельзя не отметить одного из самых кричащих противоречий между основной идеей замысла, выраженной в самой расстановке действующих лиц, в психологии их и поступках, – и... неожиданными высказываниями одного из персонажей, социал-демократа Штокмана, о *косности* казаков, том что они в массе своей *нанялись к монархам в опричники* (I,2,IX).

В «сцеплении мыслей» автора мы имеем совершенно иное: последовательно предстают перед нами картины и персонажи, которые говорят отнюдь не о послушной *косности* и безоговорочной службе царю, а о трагических противоречиях этой службы и о роли усмирителей.

Главный и главные персонажи романа, пред-

ставляющие казачью массу, и диковаты и невежественны (автор не склонен из них делать идиллических пастушков), однако это прежде всего народ свободолюбивый и обладающий чувством общества, гражданственности, это казаки – земледельцы и храбрые воины. Тема атаманства, служебного карьеризма и угодничества перед российским начальством затрагивается, трактуемая в плане насилия над простодушной и дикой мощностью казака (рассказ Христови о его дворцовой службе 1,2,IX и другие эпизоды). Уже во второй книге романа достаточно сильно показано, в какой мере ошибочными были надежды на казаков в качестве верных стражей российского трона.

Если в экзекуциях, которые совершали казаки по призыву российской полиции, и было для них самих нечто залихватски притягательное (см. притягательность жестокости для казака Чубатого в II, 5, XII), то вовсе не по той причине, какую видело начальство, поверив в преданность казаков российскому престолу. И *косное* послушание было здесь не при чем. *Косность*, если уместно это слово, – состояла в дикой, веками проявляемой ненависти ко всем, кто посягал когда-либо на свободу (в отдаленном прошлом), а затем на земли, добытые кровью вольного казачества. Отсюда – нетерпимость ко всем *иногородним*. И усмиряемые в 1905-м рабочие были для давящих их казаков всё те же *иногородние мужики*. Царская полиция лишь ловко эксплуатировала этот дикарский инстинкт донцов. – *Я их мужиков в кровь! Знай донского казака!* – вопил казачина, напившись, прежде чем явиться на сбор-

ный пункт, в мобилизацию в июле 1914-го. Но что у пьяного на языке, то у трезвого на уме: болтая несвязицу, выдал и сокровенно лежащее на сердце каждого казака: *Крой их!* – вопил казачина. – *Мы им ишо врежем.* – *Я, браток, в тысячу девятьсот пятом годе на усмирении был. То-то смеху!* – *Война будет – нас опять на усмиренье будут гонять... Будя! Пущай вольных нанимают. Полиция пущай, а нам кубыть и совестно (1,3,IV).*

То-то смеху! и *Будя!.. Кубыть совестно* – враз, как одновременные чувства казака при воспоминании о страшном злодеянии, об убийстве беззащитных, – есть тот сложный психологический узел, который распутать не просто, за что и взялся автор «Тихого Дона», не зря введя в пролог зверский поступок станичников с *иногородней* женой Прокофия Мелехова, а затем – развернув перед читателем жестокую картину смертоубийственной драки на мельнице (1,2,V) и перейдя к расправам Донского восстания.

Так дана в романе горькая для донца-патриота (каким несомненно является автор «Тихого Дона») тема опричнины, мнимой казачьей преданности престолу. Если же обратиться к реальным историческим фактам, то они подтверждают не «штокмановскую», а именно авторскую трактовку. Достаточно, например, того факта, что вскоре после расправ революции 1905 года во вторую Государственную Думу (1907) поступил запрос от казачества Хоперского и Усть-Медведицкого округов об отмене права использовать казачьи войска в качестве полицейских. Казачья солидарность и

чувство казачьей чести, которой так верен главный герой романа, оказались на деле (в дни революции) куда более сильными, чем верноподданные.

Несмотря на привилегии, казачество отнюдь не выделилось из состава фронтовых войск в готовности продолжать войну. Напротив, после боевых неудач зимы 1916-го именно казаки со свойственной им легкостью на подъем двинулись по домам, как только были поданы первые агитационные сигналы. Конникам, привычным к большим переходам, было проще двинуться вспять, к своим куреням, чем пехоте и артиллерии (II,4,XV-XXI). Что касается политической ориентации, то уже февральская революция обнаружила в казачестве характерное равнодушие в судьбам Российской Империи.

Русская монархия, офицерство, либералы и социалисты Временного правительства, так же как и *мужики-лапотники*, для казаческой массы – едина суть, всё та же Москва. Автор-летописец ведет свою хронику на основе довольно расплывчатой, явно не дорешенной для него самой идеи автономии Дона, которая должна утвердиться в сфере русской революции, расправы с деспотизмом. Даже почтенное казачество, старики, не склонны огулом порицать эту февральскую расправу: – *Живы будем – посмотрим... а нам может быть что и полегчает от этого...* (II,4,VI).

Однако старейшины видят опасность в революционных крайностях; как бы дело не дошло до уравнивания казачества со всеми *иногородними*. Нена-

висть к *красным* на том и стоит. Здесь страх, что с ...*мужиками нас поравнять хочут...* – *гляди, небось и до земельки доберутся...* (II,4,VII). Но и красные, те персонажи романа, которые органически принадлежат авторскому замыслу – все же землеробы-станичники, рассуждающие о том, как бы донцам не потерять своего и не поравняться с *мужиками*. Федор Подтелков, усть-хоперский казак-большевик (лицо историческое), говорит с Мелеховым о *своей народной власти*, которая должна сменить атаманскую... *Заберем свою власть – вот и правило...* лишь бы *подпруги нам зараз чудок отпустили*. Ведь речь идет о понятном каждому казаку; здесь уверенность в том, что народное правило непременно приведет к исконно желаемой вольности *тихого Дона*. А прийти к желанной вольности можно сейчас послушавшись *красной Москвы*, рассчитавшись с господами старого режима, с русским офицерством, т.е. с давно опостылевшей властью всё той же *Москвы*. Между тем и *краснюки*, согласно авторскому замыслу, хоть и представляют новую идею *Москвы*, однако недалеко ушли от тех, кто счел благоразумным опереться на белых.

Чисто казачья суть большевистствующего Подтелкова особенно ясно сказалась в отношении передела земли, что и высказал он недвусмысленно в разговоре с Григорием Мелеховым: (...*Григорий, хватая рукой в воздухе что-то неуловимое, натужно спросил: – Землю отдадим? Всем по краюхе наделим? – Нет... зачем же? – растерялся и как будто смутился Подтелков. – Землей мы не поступимся. Промеж себя, казаков, землю переделаем, помещицкую заберем, а мужикам*

*давать нельзя. Их - шуба, а наш - рукав. Зачем делить, - оголодают нас. II,5,II)*⁴

Характерно, что Подтелков с другими казаками-большевиками, избранными Военно-Революционным Комитетом на казачий съезд в Новочеркасске в январе 1918-го, едучи поездом по мосту через Дон, хоть и заполнены тревожными злыми мыслями, не могут не вспомнить трогательный обычай отслуживших казаков приветствовать *кормильца* при первом свидании с ним под Воронежом. Кричат *бывалоча* неистово: *Дон наш! Тихий Дон! Отец родимый, кормилец... Глянешь, а по воде голубые атаманские фуражки, как лебедя али цветки плывут (II,5,X)*. Не зря вкладывает автор в уста своих большевиков-казачьих живое слово, наделяет *краснюков* типично казачьей повадкой. Мигулинский казачина⁵ Иван Болдырев из подтелковской экспедиции, преодолевая молчаливое сопротивление станичников и *хохлов*, кричит: *Люди вы али черти? Что же вы молчите, такую вашу мать. За ваши права кровь проливаешь, а они в упор тебя не видят!.. Теперь, товарищи, равенство - ни казаков, ни хохлов нету, и какого черта лопушиться. Чтоб зараз же несли курей и яиц... На горячую речь его не откликнулись ни одним словом. И тогда казак Болдырев взгрел хохлов всласть по-старинке, как закоренелых иногородных супоста-*

4. Характерные эти слова были полностью изъяты из романа, начиная с издания: М. Шолохов. Тихий Дон. Роман в четырех книгах. Книга вторая. Изд. исправл. ГИХЛ., М., 1953, стр. 181 (ср. с изд. 1929 «Моск. рабочий». М.-Л., кн. 2, стр. 217-218).

5. Из станицы Мигулинской, откуда затем и возгорелся пожар Донского восстания.

тов: *Как были вы хохлы, так вы, растреклятые, ими и остались! Чтоб вы полопались, черти, на мелкие куски!*

Подтелков, уговаривая Лагутина смотреть на рискованное проникновение большевиков в станичную глубину не столь безнадежно, говорит: *...Ты не бойсь! Нам бояться нельзя... Прорвется! Через две недели буду бить и белых и германцев! Аж черти их возьмут, как попрум с донской земли!...* Донская земля, донщина – вот зазноба Подтелкова, а сам он типичный казак из типа гулебщиков вольниц и самохвалов.

В другом роде, но так же типичен и краснюк – Иван Лагутин... *Невольно любуясь породистым бугаем во встречном табуне, Лагутин сквозь рой встревоженных мыслей вынес со вздохом одну: Нам бы в станицу такого. А то мелковаты бугайки у нас.* (II,5,XXVII). Здесь нельзя не заметить, что именно на фоне этой своеобразности – таких красных, каковы Подтелков, Лагутин, Минаев, Болдырев, приобщенных так или иначе к большевизму в 1917 году, сами собою, ходом событий, – резко выделяются – социал-демократы и большевики, пришедшие извне, *иногородние* (Гаранжа, Штокман, Бунчук), и те, которые введены в роман по какому-то плану дополнительному, явно не связанному с основным авторским «сцеплением мыслей» (Абрамсон, Анна Погудко). Помимо этих странно выпадающих из органики романа персонажей, в романе есть несколько представителей большевистствующей хуторской «массы», характеры которых автор, сделав мелкими, ничтожными, наделив чертами отнюдь не привлекатель-

ными (Валет, Михаил Кошевой, Иван Котляров), – неожиданно выводит (своей ли рукой?) в последних книгах на широкую арену борьбы за Советскую власть на Дону. Но к этим людям мы еще неоднократно вернемся.

В Штокмане и Бунчуке есть начала, связывающие их органически с замыслом автора, но роль их находится в явном противоречии с задуманным образом, и функционально эти персонажи принадлежат к тем, кто составляет некую коммунистическую зону романа, странным образом из авторского «сцепления мыслей» выпадающую. И Штокман и Бунчук посланцы партии, временные деятели на Дону. Они вне жизни донцов-станичников, в их глазах оставаясь навсегда *иногородними*. Стопроцентный неспиаемый большевик Штокман начинает свою деятельность еще до революции, в недрах РСДРП. Партия посылает Штокмана в станицы Обдонья, и он попадает на хутор Татарский, с которым и связаны главные герои романа, и мимо которых, не глядя, проходит этот коммунист.

Что касается авторского замысла этого персонажа, то характер раскрыт в первой же главе, в которой появляется на станичном горизонте ростовский социал-демократ Осип Давыдович Штокман.

Казак Федот Бодовсков везет Штокмана из станицы в хутор Татарский, на жительство. – *Вы откель же прибываете в наш хутор?* спрашивает Федот. – *Из Ростова.* – *Тамошний рожак?* – *Как вы говорите?* – *Спрашиваю: родом откуда?* – *А-а, да-да, тамошний, ростовский...* говорит Штокман, тут же обнаруживая

незнание самых ходовых донских словечек и оборотов.

Едут они дальше, и Федот вглядывается в далекие заросли и видит там чуть приметно двигавшиеся головки дроф. – *Ружьишка нету, а то б заехали на дудаков. – Вот они ходют...* – вздыхает Федот, указывая пальцем. – *Не вижу, сознался пассажир, подслепом моргая.*

Так же подслепом, как на дудаков, глядит Штокман и на Федота, а затем, как обнаруживается из последующих глав, повествующих о пребывании Осипа Давыдовича на хуторе, – с такой же близорукостью глядит на весь казачий быт-обиход (и читатель, поняв это, не сможет поверить в справедливость смертного приговора, который Штокман впоследствии вынесет Федоту Бодовскову, как заядлому кулаку – III,6,XXIV).

Не сходя с телеги Федота Бодовскова, Штокман обнаруживает и свои намерения. Не то чтобы собирался он изучить жизнь казацкую, близко с ней ознакомиться, но, толкаемый ходом каких-то скрытых мыслей, Штокман интересуется одним: недовольством. – *А казаки, что же вообще, довольны жизнью?* – спрашивает Штокман Федота. – *Кто доволен, а кто нет, на всякого не угодишь...* рассудительно отвечает Федот. Помолчав, Штокман продолжает задавать кривые, что-то таившие за собой вопросы: – *Сытно живут, говоришь?* – *Живут справно.* – *Служба, наверное, обременяет? А?* – *Служба-то? ... Привычные мы, только и проживешь, как на действительной.* Наконец Штокман, порывшись в памяти, натывается на живинку: – *Плохо ведь то, что справляют всё сами казаки?*

Вопрос этот неоднократно обсуждался в донских газетах, и до Штокмана доходили слухи о спорах казаков на *кругах* (сходках) о том, кто должен нести расходы по воинскому снаряжению: казаки, как велось искони, или казна, то и дело призывающая казака к службе. Федот полон негодования по случаю того, что его коня *не признали* годным к службе из-за *петушиной походки*, и он принимается ругать начальство так, что заодно попадает от него и *хуторскому атаману за неправильную дележку луга*. (I,2,IV).

Казалось бы, здесь и положено было начало для знакомства Штокмана с казачьим бытом-обиходом. Но поселившись на хуторе, Штокман окружает себя двумя-тремя прозелитами из местных мельничных рабочих, замыкается в своей комнатенке у Лукешки, и лишь изнутри этой комнатенки и действует, т.е. держит речи и угощает своих обращенных чтением Некрасова и Никитина, да *книжкой про казаков*, которую они все *мусолят три вечера*. Это была та самая книга, где *доступно и зло* автор высмеивал *скудную* казачью жизнь, ...издеваясь над *косностью* казачества, нанявшегося к *монархам в опричники* (I,2,IX).

Если увлечение идеями большевиков у таких, как Подтёлков, автор расценивает, как одну, естественно вытекающую из исторических обстоятельств крайность разлившейся революции, то совсем другим является его отношение к всероссийской партии большевиков, к её социал-демократической основе. Совершенно очевидно из нагнетения черт антинародности (т.е. прежде всего: антикрестьянской

сущности) у Штокмана, что в глазах автора лица, подобные Штокману, не являются созидателями нового, но лишь тупыми фанатиками затверженных идей. Жестокость смысловой сути в самой фамилии: Stock (палка, немецк.). Эта очевидная характеристика между тем соседствует в романе с некоей врезкой с ней идущей тенденцией. Диву даешься, зачем понадобилось, показавши Штокмана с самого начала как тип деятеля наиболее для автора отрицательного, — потом делать из него учителя жизни и основоположника коммунизма на Дону?

Столь же загадочным является и разобщение между характерными чертами вышеупомянутых прозелитов гнезда Штокмана и той ролью, которую они (весьма натянуто в смысле изображения) призваны играть как передовая часть казачества, как победители советской власти на Дону? (главы о расстрелах и.т.д.).

Итак Штокман не знает ни земли *тихого Дона*, ни того, чем живет донец-станичник. Знание, изучение ограничено для Штокмана пределами основополагающих книг; он является на хутор, уже заранее определив для себя психологию казачества — понятием *косности*. Определение это вычитано из книги, с которой и начинает Штокман свои душевспасительные беседы с прозелитами хутора. С этого самоуничижающего определения и начинается коммунистическое прозрение Ивана Котлярова, Валета, Давыдки и Михаила Кошевого (I,2,IX). Да казаки ли они, все эти люди, обретенные Штокманом на хуторе Татарском? Выражают ли они массу казаческую? Совсем нет. Первые три принадлежат

рабочему классу хутора, работают на мельничной машине, а последний по складу характера своего, — не казак (разве лишь в части амбиции, желания покрасоваться, себя показать (IV,8,II). Кошевой и не земледелец, хозяйственную жизнь он с детства презирает. Он и не воин (на войне томился, да и лихостью казачьей отнюдь не обладал, тоскует, жалуется на свою горемычность, философствует). Но роль Кошевого в романе до нелепости противоречива. Полагать можно, что именно как отщепенец, «перекати-поле» был этот казак взят автором для контраста в дружки-недрузи главного героя, Григория Мелехова. Здесь поэтический замысел ясен в своей стройности, обдуманности частей и деталей. Быть может, сильнейшим в нем является разлад Кошевого с конем, с табуном, грозно на него несущимся во время грозы (III,6,III) тогда как Григорий Мелехов — неотделим от своего коня, несущего его в огонь и воду. В замысле характера Кошевого вполне логичным фактом является *порка* (вместо расстрела), заданная Кошевому казаками в завершение казни коммунистов подтелковского отряда. Трусоватая жалкость штокмановского прозелита Кошевого показана в романе неоднократно. После *порки*, казалось, Кошевому следовало бы исчезнуть с глаз хуторян, хотя бы по чувству стыда. Но он не исчезает, остается. Мало того: он не сопротивляется, когда его направляют в воинскую часть, занятую изничтожением красногвардейцев. Однако попавши, вместо того, на конский отвод, Кошевой пытается объяснить другим атарщикам *народные права* как хотят

их установить красные (...*Не должно быть ни панов, ни холопов. Понятно? Этому делу решку наведут*) – Однако поняв, что речи его не по нраву, и чего доброго за них придется отвечать, – Кошевой стал униженно просить. У него дрожала челюсть, растерянно бегали глаза, и атарщик Солдатов, отворачиваясь, вырывая свою руку из холодной, потной руки Кошевого, произнес: – *Крутишь хвостом как гад! Ну, да уж ладно, не скажу. Дурость твою жалею... А ты мне на глаза больше не попадайся, зрить тебя больше не могу! Сволочь ты!* – Мишка униженно и жалко улыбался в темноту... (III,6,III)

Но как сочетать порку, мелкодушие и самолюбивую раздражительность с героической функцией этого персонажа? Ведь Михаил Кошевой и является в романе тем коммунистом, который утверждает Советскую власть на хуторе Татарском и гордо стоит на страже большевистской законности. Правда, «страж» этот не находит лучшего способа утвердить коммунистическое правосудие, как пристрелив деда Гришаку, столетнего всеми уважаемого и беззащитного старика, сжечь его вместе с домом и двором. Причем, делает всё это Кошевой, преисполненный собственной значительности и важности совершаемого (III,6,LXV).

Цели автора и вторгшегося в его замысел «двойника-соавтора» явно разошлись, и «соавтор», не отменяя задуманного, проник в роман со своими «доделками», уже вовсе не заботясь о цельности созданного автором характера.

Такое же противоречие поражает при рассмотрении характера Валета, задуманного автором,

как существо озлобленно-колючее, нетерпимое и нетерпеливое (I,2,III; II,5,XXII). Недаром существо это сравнивается с *хорьком* (...*хориные, с острижкой глаза...*), с *ежом* (... *ежина мордочка его побелела от злости, остро и дичало зашныряли узко сведенные злые глазенки, даже дымчатая шерсть на ней как будто зашевелилась...*). У Валета маленькие ручки, поросшие *черным волосом* – словом, в нем – нечто мелкодывольское. Не убрав всех этих качеств и признаков, которые делают злобно-раздражительного Валета неприятным в любой ситуации, – автор (?), тем не менее, заставляет Валета быть голубым героем. Шерстистый, колючий, всех ненавидящий (исключение составляет лишь *ягодка Штокман*. К Михаилу Кошевому и Котлярову – отношение лишь снисходительное), – Валет неожиданно для читателя вдруг начинает произносить выпренно-свободолюбивые и даже сентиментальные речи, олицетворяя пацифиста последних дней войны с немцами, в канун революции, а затем личность нестигаемую, героическую, истинно пролетарскую (II,4,III; II,5,XXII и XXX).

Этой же противоречивостью, необъяснимой в пределах основного авторского «сцепления мыслей» отличается характер Ильи Бунчука. Образ Ильи Бунчука странным образом двойится, причем отпластовывается основа замысла этого персонажа и черты-поступки, которые никак не смыкаются с общей идеей романа. Бунчук, вольноопределяющийся из меццан, персонаж характерный для офицерского состава русской армии времени войны 1914-1917 годов, которая не могла обойтись ка-

дровым офицерством. Как правило, офицер, подобный Бунчуку, был не совсем своим среди кадровых офицеров полка, и тем самым держался несколько обособленно. У Бунчука – характерные черты некоторой демократической надменности (не без озлобленного раздражения против господ-офицеров, более образованных, свободных в деньгах и связанных между собою легким, веселым товариществом). Между тем политическое свободомыслие Бунчука вызывает у офицеров его *сотни* интерес не без уважения. Недаром подъесаул Калмыков советует познакомиться сотнику Листницкому с Бунчуком поближе. – (*...Вы поговорите, сотник, с вольноопределяющимся Бунчуком. Он в вашем взводе. Интересный парень! – Чем? – спросил Листницкий... – Обрусевший казак. Жил в Москве. Простой рабочий, но натасканный по этим разным вопросам. Бедовый человек и превосходный пулеметчик... I,3,XV*).

Судя по этой главе, в которой мы только знакомимся с Бунчуком, последний держится с достоинством; в друзья не лезет, тыкать себя не позволяет, скуп и строго отвечает на вопросы. На свое начальство (есаул Листницкий) Бунчук производит впечатление дельного командира. Все в нем видят черты *непреклонной воли*, и в этом волевом облике каждый угадывает нечто не досказанное, будто идет он *обходя одному ему известную правду по кривой, извилистой стезе*. Таков был низший офицер Бунчук, таким он задуман, – с явной проекцией на революционную деятельность.

До времени облик Бунчука загадочен, не раскрыт, и исчезновение его из армии, дезертирство, с по-

следующим обнаружением в полку революционных листовок – является для однополчан полной неожиданностью. Зжатость, загадочность Бунчука раскрывается постепенно, и в качестве завязанного большевика, уже вполне логично появляется он после февральской революции (когда склоняет казаков Донской дивизии не повиноваться распоряжению главнокомандующего. II, 4, XVII).

Вольноопределяющийся Илья Бунчук – фигура в романе значительная, но эпизодическая. Это тип агитатора большевистского толка, которыми определился исход настроений солдатской, фронтовой массы в конце 1916-го. В момент уже нестерпимого напряжения и неудержимого стремления русского солдата двинуться к дому – именно этот тип командира оказался наивлиятельнейшим. Надо полагать, что и фамилия, присвоенная персонажу, – не случайна; она определительна и в тоже время карикатурна. Знак атаманской власти – *бунчук*, означает и важность роли, сыгранной типом людей, к которым принадлежит вольноопределяющийся Бунчук, но, одновременно – и комическую неправомерность идейного «атаманства» для *иногогороднего* мещанина, никакого отношения к народной массе казачества не имеющего. Автор подчеркивает *иногогороднюю* суть Бунчука и сценой свидания его с матерью, новочеркасской мещанкой, и ночными размышлениями о трудностях разговора с казаками. (Перед тем как держать речь перед станичниками-фронтовиками, солдатами Донской дивизии, Бунчук вдруг начинает нервничать: *выступая, привык, что его чувствуют и понимают с полуслова, а тут с земля-*

ками требовался иной, полузабытый, черноземный язык. Здесь же, в этих ночных размышлениях Бунчука, обнаруживается его полное незнание и непонимание психологии казачества, когда считает он необходимой... *ящериную изворотливость, какую-то особую силу убеждения, чтобы уничтожить напластовавшийся веками страх послушания, раздавить косность, внушить чувство своей правоты...* II,4,XVII).

Автору явно чужды революционеры, сформированные городом, рабочей демократией, ничего общего не имеющие с землей, с массой крестьянской, а потому сочувствуя революционному духу Бунчука, автор показывает его самонадеянно антинародным, целиком принадлежащим партийному механизму, а не живой действительности народного бытия.

В качестве винтика этого механизма и глашатая ограниченного круга идей (за пределы которых он не смеет ступить) – Бунчук показан и в офицерской землянке, и среди казаков своего взвода. Агитационная задача Бунчука ограничена порученным ему партией нехитрым лозунгом: *Долой войну!..*

Еще в армии, на фронте, вольноопределяющийся Бунчук, пользуясь усталостью солдат, их неумной тоской по дому, настраивает свой взвод (Бунчук – хорунжий в одной из сотен Второй Донской дивизии) против командования и, тем самым, содействует развалу на фронте. При этом вовсе не считает он должным оставаться в строю и руководить. Нет, сам-то он тут же и дезертирует, оставив *разложенных* на произвол судьбы войны. Возвращается

он к своему взводу лишь велением партии, дабы приостановить движение Донской дивизии, направляемой командармом в Петроград. Коммунист Бунчук является под Нарву, где стоят эшелоны Донской дивизии, проникает к казакам бывшего своего взвода и агитирует. В Петрограде делать вам нечего, – говорит казакам Бунчук... *Кто вас ведет? – царский генерал Корнилов... Для чего вас туда посылают? Чтобы свергнуть Временное Правительство...* Сейчас большевики за Керенского, т.к. знают, что Временное правительство – ничто, а Корнилов серьезный враг (...*Деревянное ярмо с вас хотят скинуть, а уж ежели наденут, так наденут стальное...* II,4,XVII).

В речах Бунчука, которыми он затруднен единственно по той причине, что забыл *черноземный* язык казаков – сплошная демагогия. Его посулы и объяснения казакам книжностью своей ничем не отличаются от штокмановских. И говорит он книжно, хотя подделывается под просторечье; так догадывается он, что *хочут* звучит черноземнее, чем естественное для него «хотят». Вполне штокмановским у Бунчука является незнание жизни и нужд казака-земледельца. Когда казак спрашивает у него, как решится земельный вопрос на Дону (...*А всчет землишки они как?*) – Бунчук делает вид, что не слышит, продолжая отвлеченный разговор о народовластии, народных советах и свободных выборах.

За пределами нехитрой фронтовой агитации кончается тот Бунчук, который вполне объясним логикой авторского замысла, и начинается некий

герой, уже никакого отношения к замыслу не имеющий.

Читатель становится в тупик, когда сдержанный и скрытный Бунчук с бессмысленной развязностью выбалтывает сокровенное о революции – офицерам, верноподданические взгляды которых ему хорошо известны. Не то, чтобы человек проговорился, не стерпел, нет, – он пропагандирует, обильно цитирует Ленина, поучает с величайшим апломбом... Кого и зачем? – вот что смеет спросить читатель. Ведь Бунчук рискует огромным делом, которое ему доверила его партия... Ведь он уже разбросал листовки, взывающие к солдату, и собирается завтра дезертировать, уйти из своей фронтовой части незамеченным, чтобы вскоре начать пропаганду во всероссийском масштабе. Так зачем же ему при этом «дразнить гусей», вызывать подозрение и раздражение у старших по чину офицеров, заведомых монархистов и патриотов?

Офицеры-однополчане Бунчука, угадывающие образ мыслей своего хорунжего, слышавшие его замечания по разным поводам, именуют его речи – *вещаниями по демократическому соннику*. Эта характеристика свидетельствует о скептической снисходительности.

Взглядов Бунчука не разделяли, но тема: «Долой войну» была животрепещущей не только для солдат, – но и для офицеров всех чинов. Уйти от нее в 1916-м уже было невозможно, а потому и беседа в офицерской землянке сама по себе кажется закономерной. Реалистична тема и ее контекст в разговорах о наступлении, о конце войны

и возможных ее последствиях. С этой точки зрения даже то, что Бунчук для укрепления своих позиций в беседе вытаскивает из кармана «Социал-Демократа» со статьей Ленина⁶ – не представляется совсем невозможным. Бунчук укрепляет свои аргументы ссылкой на слова Ленина о том, что «международная буржуазия одурачивает массы, прикрывая империалистический грабеж старой идеологией национальной войны», и о том, что необходимо превратить «империалистическую войну в гражданскую...».⁷ Последняя мысль и является руководящей для агитационной большевистской деятельности в конце империалистической войны с Германией. Здесь источник антивоенной пропаганды тех дней; и именно данная статья Ленина была документом, хорошо известным в революционных кругах (не только в узком кругу большевистского крыла РСДРП). Поэтому вполне естественно, что именно эту статью читает вслух Бунчук, стремясь доказать свою мысль.

Обращение к данной статье Ленина естественно и органично для темы Бунчука, тогда как цитата из статьи «Краха II Интернационала»⁸ вклинивается в диалог, происходящий во фронтовой землянке, – с неожиданной неуместностью, превращая живой разговор в урок политграмоты. Не говоря о неуместности столь обильного цитирования в непри-

6. «Положение и задачи социалистического интернационала». Социал-демократ. № 33, 1 ноября 1914 г. Полн. собр. соч., изд. 4, т. 21, с. 22.

7. Ленин. Полн. собр. соч. изд. 4, т. 21, с. 23.

8. «Крах II Интернационала». Журнал Коммунист, 1915, № 1-2. Полн. собр. соч. изд. 4, т. 21, с. 226.

нужденной беседе, какую стремился изобразить автор (сверх 70-ти строк из статьи «Положения и задачи»... еще – 40 из «Краха») – цитата из «Краха» здесь неуместна по смыслу ее. Статья Ленина посвящена необходимости создать такое рабочее объединение, которое было бы подобно организации военной. Пафос этой статьи Ленина в том, что II Интернационал бессилён, так как не может сделать главного: организовать рабочий класс, партию, которая по своей дисциплине, стойкости, маневренности и единой воле была бы подобна организации военной. Тем самым Ленин утверждает ценность военной, армейской организации, беря ее за образец устройства гражданского объединения. Что общего между этой мыслью Ленина и темой Бунчука, который как-никак расшатывает дисциплину армии, и именно в этом его политическая задача? Общего нет ничего, и цитата дана, так сказать, по касательной (а проще сказать: «ни к селу, ни к городу»), для сообщения читателю высокого мнения Ленина о военной организации как таковой.

Но эта цитата появившись и остается при всех последующих авторских (?) доработках, тогда как первая – исчезает, и Бунчук остается без опоры.⁹

Но не только маневры с основополагающими текстами Ленина говорят о последующей обработке образа Бунчука, не имеющей никакого отношения к замыслу, – но и другие особенности первой главы

9. Сравни «Тихий Дон» в изд. 1929 г. (изд. «Моск. рабочий». М.,-Л., 1929), 2, стр. 9-10 и соответствующее место романа в собр. соч., 1956-1957. Гослитиздат.

второй книги. Глава эта полным-полна фальши. Фальшивыми являются и грубо-бесцеремонный тон, каким говорит Бунчук со старшими по чину офицерами (...Петрушку валяете и т.п...),¹⁰ и партийная фразеология Бунчука, совершенно не соответствующая описываемому дореволюционному времени, явно взятая из публицистики послеоктябрьского периода, и самое построение диалога между убежденным монархистом Листницким (к тому же убежденным сторонником строгой воинской субординации) и полусолдатом Бунчуком.

Наконец, насквозь фальшивым является и донесение (попросту: донос) по поводу вещаний Бунчука, адресованный есаулом Листницким в Особый отдел штаба дивизии. Такого стиля доноса не мог написать кадровый офицер того времени. Здесь и в самой подлости должен был соблюдаться оттенок благородства, чувство дворянской чести, хотя бы и ложно понимаемой. Резюмируя вышеизложенное по поводу хорунжего Бунчука и необходимости *перетрясти*¹¹ пулеметную команду – Листницкий уж слишком пересаливает в низкопоклонстве, прося начальника Особого отдела *не забывать* о его, Листницкого, *стремлении служить на пользу родине и монарху*.

Такая, с позволения сказать, модернизация воинского донесения находится в противоречии с авторским замыслом и явно принадлежит «соавтору».

10. О невозможной для данной эпохи лексике здесь говорить не приходится.

11. Выражение, в ту пору вряд ли знакомое и демократу Бунчуку, – не то что воспитанному гувернерами дворянину Листницкому.

В романе нет ни единой сюжетной нити, связующей Бунчука с кем-либо из основных героев романа. Даже с Листницким у Бунчука нет никаких отношений, и исчезнув с горизонта своего есаула, Бунчук больше ему на глаза не попадает, так что читатель не осведомлен и о последствиях доноса на Бунчука (хотя бы для карьеры Листницкого).

Между тем, поверх авторского «сцепления мыслей», совершенно искусственно (для той функции, какая дана Бунчуку в романе) – этому персонажу отведено четырнадцать глав. Из них только три главы – функциональны (по авторскому замыслу). Это главы: – I,3,XV; II,4,I; II,4,II. Остальные одиннадцать, вклиненные между главами второй книги, представляют собой некое искусственное сооружение, встроенное в корпус романа. Это – сочинение, написанное в духе таких романов, как «Комиссары» или «Неделя» Либединского, произведений, представляющих собой ряд мелодраматизованных тезисов программы коммунистической партии.

В одиннадцати главах этих Бунчук и женщина, с которой он связывает свою судьбу (Анна Погудко), фигурируют в качестве героев политической и любовной ситуаций, завершенных героической гибелью.

Как и у других эпизодических персонажей, которых немало в романе – у Бунчука нет своей жизненной линии, и автор не сообщил читателю никаких сведений о том, как и где кончил свою жизнь этот деятель 1917 года. Естественно, что как персонаж выдуманный, Бунчук не мог попасть в

исторический подлинный список, хотя в главе о приговоре над членами подтелковской экспедиции (II,5,XXVIII) Бунчук и пристроен приговоренным к казни (постановление от 27 апреля 1918-го). Нельзя не заметить, кстати, что «соавтор», сочинитель поименованных одиннадцати¹² глав о Бунчуке, даже в пределах этой своей идеологической зоны не смог выдержать единства характера, им самим придуманного.

Несгибаемый большевик Бунчук не только сгибается под бременем горя (гибели Анны Погудко), но, раздавленный им, решительно начинает пренебрегать своими высокими партийными обязанностями. Он не принимает никакого участия в обсуждении рискованного замысла Подтелкова (стремящегося проникнуть в станицы готового к восстанию округа) и на вопрос Подтелкова – *Может, пойдём дальше?* – равнодушно пожимает плечами. Ему всё равно – *вперед идти или назад... лишь бы уходить от следовавшей за ним по пятам тоски* (II,V,XXVIII). Перед казнью Бунчук не только не ободряет товарищей, не поддерживает молодых, слабых, – он совершенно холоден и равнодушен к делу, которому служил, и к людям. (... *Он готовился к смерти, как к невеселому отдыху... когда усталость так велика... что волновать уже ничто не в состоянии...* II,5,XXIX)!

Этот всочиненный, вставленный в роман Бунчук, так же как и Штокман (в качестве светлого героя

12. Главы: II,5,IV-VII; II,5,XVI-XVII; II,5,XXI; II,5,XXV-XXVI; II,5,XXIX-XXX.

и учителя) принадлежат к тому графаретному набору стальных, огнеупорных, монолитных и... увы... безликих коммунистов, которые неизменно побеждают и всех превосходят в романах, повестях и рассказах про то, как Советская власть боролась с контрреволюцией на... Волге, Каме, Днепре, Неве, Москве-реке, в Сибири.

И вот фигуры этого графаретного набора оказываются в сфере тихого Дона. И вот эти стандартные коммунисты с их прозелитами, повторяющими стандартные речи своих учителей, – действуют в сфере донщины, на хуторе Татарском, по предписанным стандартам, и почти всегда вразрез с тем, что является необходимым для казаков. Жизнь этих стальных и монолитных в романе «Тихий Дон» кособочится отдельно не только от казачьей массы, но и от станичников с большевистскими настроениями, неразделимых, по замыслу автора, с вольницей тихого Дона.

В сфере главенствующей идеи романа – борьбы за революционное утверждение казацких свобод на Дону – естественно должны были появиться персонажи интеллектуального типа, поборники идеи самоопределения Области Войска Донского. И эти герои намечены в романе, хотя странным образом не только не раскрыты в действии, но мгновенно исчезают, едва только показываются на глаза читателю. Таковы Атарщикова и Изварин, появляющиеся во второй книге «Тихого Дона» (II,4,XI; II,5,II, XII и XVIII).

Изварин и Атарщикова не только офицеры ка-

зачьих войск, они представляют ту интеллигенцию Дона, которая предана идее самоопределения Области, влюблена в своеобразие земли своей, в самобытность, исторические корни и поэзию казачества. Здесь два типа интеллектуалов-патриотов Дона: прожектёр-сепаратист с данными волевого политического деятеля (Изварин) и мечтатель-романтик Атарщиков, преданный казакам всей душой.

Впрочем Изварин, судя по наметке характера, отчасти тоже мечтатель, но из неистовых, у которых неистовость мечты переходит в фанатическое стремление облечь эту мечту в некую программу, хотя бы и явно не реалистическую.

Автор вводит Атарщикова в свою донскую эпопею в острейший момент всеобщей растерянности и почти истерического осознания необходимости действия, пока не поздно. Подъесаул Иван Атарщиков – влюблен в свой *тихий Дон* (...*до чертиков люблю Дон, этот старинный, веками складывавшийся уклад казачьей жизни... казаков своих, казачек – всё люблю!*..) и ему *от запаха степного полынка хочется плакать*. И это не только слова: Атарщиков готов умереть за родную ему Область Войска Донского, хотя до поры-до времени служит в своем казачьем полку, с привычным для русского офицера верно-подданическим и общерусским сознанием.

Атарщиков один из казачьих офицеров, среди многих собравшихся у сотника Листницкого. Обсуждаются дела всероссийские и дела казачьи. Речь идет о назначении Корнилова главнокомандующим. Все офицеры – за Корнилова (одни видят в нем поборника интересов казачьих войск, другие,

как Евгений Листницкий, – поборника основ русской монархии и, на крайний случай – возможного военного диктатора, русского Бонапарта). Атарщиков принадлежит к первым, но он сознает это в полной мере лишь тогда, когда слышит находчивое слово казака Долгова, хорунжего своей сотни: – *Нам, казакам, надо держаться за генерала Корнилова... Оторвемся от него – пропадем! Расея навозом нас загребет.* – Атарщиков восхищен простотой формулы: – *Так как же господа атаманы? За Корнилова мы?..* Но хотя все чокаются и кричат: *ура! ...дорогому Лавру Георгиевичу, казаку и гварю* – всем страшно и невесело, потому что нет уверенности в простом казаке, которому *всё одно*, которого лишь одна единая мысль гложет: чтобы кто-то (всё равно кто) *насчет замиренья постарался*, чтобы скорей к своим куреням... Атарщиков (заметим это) первый ратует за необходимость сближения офицера с простым казаком, за то, чтобы *увлечь за собой казаков*. И в то время, как для сотника Листницкого – необходимость *сродниться с казаком* – лишь сегодняшняя политика, для Атарщикова – это большая цель (как и для самого автора, для его народнической целеустремленности). Об этом свидетельствует ночная исповедь Атарщикова, сомнения, которые он высказывает Листницкому по поводу казаков, *стихийно уходящих от своих офицеров*.

Сомнения и тяжелые раздумья о глубинных, неостановимых токах революции несколько не противоречат тому, что Атарщиков остается деятельным членом Главного комитета офицерского союза, тому, что веря в Корнилова, он считает

правильными предлагаемые им крутые меры. (...Верховный требовал юрисдикции военно-полевых судов, с применением смертной казни в отношении тыловых войск и населения...). Из того, что сказал Атарщикова, каким выглядит он в качестве персонажа одиннадцатой, двенадцатой и тринадцатой главок четвертой части романа – можно составить представление о дальнейших путях этого казачьего офицера. Нет сомнения, что ему впоследствии надлежало очутиться в сфере Донской армии, что жизнь повела бы его к степям родного Дона, с тем, чтобы он был в числе тех, кто поверил в возможность его автономии и пострадал за эту веру.

Меж тем, уже в одиннадцатой, а тем паче в двенадцатой главке, Атарщикова начинает вести себя, как человек, который *увязывает казачье с большевистским* (II,4,XII). Самая фразеология ночной исповеди Атарщикова вызывает сомнения: *А вот теперь думаю: не околпачиваем ли мы этих казаков? На эту ли стезю хотим мы их завернуть.*

Не забудем, что дело происходит не раньше и не позже, чем 19 июля 1917 года, т.е. еще до Октябрьского переворота, когда еще не была ясна та *стезя*, по которой собирались вести народ большевики. Но и в послеоктябрьские дни лишь считанные единицы из русского офицерства пошли за большевиками или усумнились в правде Корнилова и других вождей добровольческого движения. Как же могло случиться, что атаман казачий, страстный корниловец Атарщикова, вдруг оказывается тут же и полубольшевиком? В одиннадцатой главке Атар-

щиков лишь трагически сомневается, в двенадцатой – уже приоткрывает свое полубольшевицкое лицо Листницкому,¹³ а в девятнадцатой уже откровенно улепетывает вслед за казаками, показывая спину своему командованию, пытавшемуся отстоять Зимний дворец 25 октября 1917-го согласно плану Корнилова, по приказу которого, как мы знаем, Атарщиков собирался *цедить свою и чужую кровь*. Спрашивается: зачем автору понадобились все эти пылкие речи Атарщикова или так выразительно спетый им донской гимн, – если целью было лишь показать, как этот офицер изменит присяге в самый ответственный момент и как сразит его пуля кого-то из корниловцев?

Ведь в таком случае эта пуля в спину удравшего Атарщикова – великий промах автора, неведомо для чего воздвигшего и уничтожившего своего героя.

Уж если и был создан и так живо изображен Атарщиков не для того, чтобы в дальнейшем действовать в романе, – а на трагическую погибель, то погнубть должен был он в логическом согласии с изображенным портретом.

И тогда надлежало ему погнубть от руки какого-нибудь *матроса в бушлате*, или *петроградского пролетария*, при тщетной попытке *увлечь за собой казаков*, а не от руки своих товарищей, которым

13. Этому заядлому монархисту везет: с ним откровенничают (как-то неправдоподобно) и большевик вольноопределяющийся Бунчук и подъяесаул Атарщиков, явно чуждый Листницкому по духу. Заметим здесь, что откровенничанье с Листницким, по меньшей мере, лишено логики в авторском «сцеплении мыслей».

(так же как и делу присяги) Атарщикова изменить не мог. Надлежало лечь на площади чуждого ему города (чтобы уже больше не услышать *запах степного полынка...*) не при бегстве (неизвестно куда и зачем), – но как поборнику свобод, достигнутых февральской революцией.

Однако волею «соавторского» переосмысления Атарщикова убит бессмысленно, вопреки логике образа.

Он убран с поля действия романа.

Ефим Иванович Изварин, так же как Атарщикова, появляется в романе в момент тяжелейшего разброда, в дни, сопутствующие Октябрьской революции. Появляется явно не для того, чтобы вскоре бесследно исчезнуть, но чтобы сыграть серьезную роль в донских событиях эпопеи, и роль – немаловажную. Недаром автор делает его и по внешности *типичным казаком (...среднего роста, статный, широкоплечий, Изварин был типичным казаком: желтоватые, цвета недозрелого овса, вьющиеся волосы, лицо смуглое, лоб покатый, белый, загар тронул только щеки... Энергичная походка, самоуверенность в осанке и в открытом взгляде карих глаз отличали его от остальных офицеров полка...)*. Из одного этого описания явствует значительность Изварина, его органическая связь со станичниками. Мы узнаем также, что обладал Изварин особой способностью влиять на окружающих: *(...Казачьи относились к нему с явным уважением, пожалуй, даже с большим, чем к командиру полка... II,5,II)*. Между тем он не был одним из скороспелых трибунов, которые спешили воздей-

ствовать на массы, сами не имея за душою сколько-нибудь продуманных мыслей. Ясность и твердость убеждений заставляла уважать Изварина. Его уважали и рядовые казаки, и те, кто стоял на вершинах служебной карьеры. Так из восемнадцатой главки той же пятой части мы узнаем, что начальник штаба Походной Донской армии полковник Сидорин после ответственного секретного совещания генералитета Донской и Добровольческой армий – делится с Извариным своими впечатлениями от совещания (II,5,XVIII), между тем как Изварин всего лишь один из офицеров конвоя. Из вопроса Изварина и ответа ему ясно, что оба понимают друг друга с полуслова. Чем же, какой идеей, так сказать, заряжен Изварин в столь сильной мере, что она-то и придает ему вес, смелость, решительность поступи, власть над людьми?

Как мы узнаём из диалога Изварина с Григорием Мелеховым – идеей Изварина, его глубоким, издавна продуманным и взвешенным убеждением является автономия Области Войска Донского. По-видимому, Изварин должен был в романе занять место идеолога того движения, которому и посвящена центральная часть эпопеи – идеолога борьбы за *тихий Дон* с подминающим всероссийским централизмом Советской власти.

Деятельность Изварина началась вскоре после Февральской революции, по возвращении казачьих полков на Дон (*... Февральская революция встряхнула его, дала возможность развернуться, и он, связавшись с казачьими кругами самостоятельного толка, умело повел агитацию за полную автономию Области Войска Дон-*

ского, за установление того порядка правления, который существовал на Дону еще до порабощения казачества самодержавием...). Отметив для дальнейшего анализа специфичность фразеологии и лексики данной цитаты и всей главы, так сказать, шибяющих в нос «стилем» агитки 1920-х годов («стилем», впрочем, и ныне ходовым) – явно невозможным для автора, для поэтики «Тихого Дона», – позволим себе на основании этого наблюдения усомниться в принадлежности этого «стиля» автору «Тихого Дона» и заподозрить здесь поздейшую, кем-то сделанную замену авторского текста (ранее существовавшего в романе изображения деятельности Изварина, хотя бы фрагментарного) суммарным и тенденциозным пересказом.¹⁴

Однако, несмотря на пригонку и подмены, о которых вся речь впереди – мы вполне можем себе представить политическую идею Изварина, которая вдохновляла его слушателей.

Изварин исходил в своих политических выкладках из исторического прошлого казачества, из тех времен, когда русские цари еще не назначали на Дон своих атаманов, а они так же как атаманы походные (в руках которых сосредотачивалась неограниченная власть во время военных действий) – подлинно избирались и утверждались на малых и больших *Кругах* (Совет). В своей политической программе исходил Изварин (быть может и несколько книжно) из многовекового демократи-

14. Наблюдения эти касаются глав: II-ой, XII-ой и XVIII-ой пятой части.

ческого опыта, не потерянного еще в казачестве, из тех свобод, которые веками реально существовали в быту и в воинском строе казаков.¹⁵

Ратуя за установление того порядка управления, какой существовал на Дону еще до *покорения* Россией, Изварин (или скорее сочинитель пересказа его слов) – несколько преувеличивает отрезок той исторической эпохи, когда донские казаки, *покоренные Россией, защищали четыреста лет ее интересы и не думали о себе.*¹⁶

Между тем апелляция к историческому прошлому, поиски в этом прошлом корней для идеи независимости Дона характерны для поборников автономии области, и не только для интеллигенции, но и для всех казаков, склонных обращаться к исторической песне, народным сказаниям о казачестве тихого Дона, искони отстаивавшего свою землю и свободу. Вот почему предлагаемая программа сепаратизма области *в покоряюще красивом изложении Изварина импонировала не только большей части зажиточного низового казачества* (что не

15. Здесь имелся в виду установившийся к середине XVI века демократизм общинного землевладения и система выборов хуторских, станичных, окружных и общевоисковых атаманов, – а также политическая свобода, распространявшаяся и на внешние пограничные сношения.

16. Как известно, первые сведения о донском казачестве еще отнюдь не *покоренном* Россией, относятся к началу XVI века. *Покоренными* можно считать донцов лишь с Петровского времени, после подавления Булавинского восстания (1707), а полностью подчинившимися Российской администрации – с Екатерининского указа 1772 года. Другое дело, что донские казаки все четыреста лет своего существования служили надежным заслоном или боевым аванпостом для России в ее борьбе с ханскими и турецкими набегами. В этом смысле донцы действительно *четырееста лет защищали интересы* России.

соответствовало ни историческим, ни современным показателям)¹⁷, – но радовала всё казачество своей реальностью сегодня. Казалось бы, независимость Области Войска Донского в составе казачьей Федерации сейчас была достижима и революционна по своей идее. Ведь такие федерации и должны были возникнуть при крушении Российской империи, подминавшей до Революции под свой громоздкий состав все национальные и политические объединения.

Между тем идея независимого Дона требовала опоры, и поборники ее вынуждены были так или иначе участвовать в кровопролитных боях между большевиками и их противниками, представлявшими и свергнутый старый режим, и либеральные идеи, утвержденные Февральской революцией.

Во имя независимости Дона действовали и казаки, примкнувшие к красным отрядам, возглавленным такими, как хоперский казак Подтелков, и казаки, связавшие свои судьбы с русской Добровольческой армией. Здесь, в этой сфере *белых* и

17. Здесь опять-таки, в который раз, мы останавливаемся на загадочном противоречии текста, на чужеродности сказанного в контексте романа. Ведь мы имели полную возможность убедиться в глубоком авторском знании истории и быта донского казачества. Откуда же, из какого безграмотного источника могли проникнуть сведения о том, что идея независимости характерна для зажиточного казачества с низовьев Дона. История утверждает совершенно обратное. Как известно, именно «домовитое», осевшее на земле казачество – легко сговаривалось с российской администрацией и стремилось к ее покровительству, сулившему ряд выгод. К независимости, к автономии Дона стремились преимущественно – «голутвенные» казаки, голытьба, непоседливая и воинственная, причем верховые казаки т.е. осевшие по верховьям Дона – были заядлыми врагами подчинения *Москве*.

нашел свое место сотник Изварин, впрочем, начавший пропаганду идеи свободного Дона еще до победы большевиков.

Путь Изварина проследить нетрудно, хотя сведения (именно: сведения!) даны как-то случайно, фрагментарно. В главе второй Изварин – сотник запасного полка, стоящего в станице Каменской, не устает просвещать своих казаков насчет такого строя на Дону, *когда править будет державный Круг, когда не будет в пределах области ни одного русака, и казачество, имея на своей правительственной границе пограничные посты, будет как с равными, не ломая шапок, говорить с Украиной и Великороссией и вести с ними торговлю и межу.* (II,5,II). При этом автор (?) прибавляет назидательно: – *кружил Изварин головы простодушным казакам и малообразованному офицерству. Под его влияние подпал и Григорий.* Что Мелехов должен был подпасть под влияние идеи Изварина – к тому исподволь готовил нас автор, показывая в своем герое прежде всего – свойства донца, бережно хранившего казачьи чувства в сражении и в столкновении с русским начальством.

Между тем вполне правдоподобно и то обстоятельство, что появление вслед за Извариным на том же горизонте станицы Каменской – энергичного и тоже по своему влюбленного в Дон казака Подтелкова – повергло Мелехова в сферу воздействия большевиков. Были для этого у завязанного казака Григория давние предпосылки: исконные его поиски справедливости, нетерпение к предрассудкам и к тем сословным привилегиям, которыми офицерство русское не стеснялось пользоваться даже

и в теперешнее сложное время – не то что при старом режиме. А потому на вопрос Изварина: – *Ты, кажется, принял красную веру?* в январе 1918-го Мелехов отвечает – *Почти...*

Двенадцатая глава пятой части начинается со слов: *Перед съездом фронтового казачества в Каменской бежал из полка подъесаул Изварин*. Краткость этого сообщения предоставляет читателю различные отгадки, которым могут помочь «рожки да ножки», всё же оставшиеся в тексте от Изварина, после того, как автор, зачем-то создавший его, – постарался поскорее от него избавиться (?). Эти «рожки да ножки» мы находим в главе восемнадцатой пятой части, где и отыскивается след бежавшего¹⁸ подъесаула. Он оказывается, как уже было упомянуто, в конвое генерала П.Х. Попова, походного атамана Донской армии, на которую так сильно надеялся Корнилов. И как выясняется из этой главы, армия, возглавленная походным атаманом генералом Поповым, представляла в объединении Добровольческих армий совершенно обособленную единицу, являясь, в основе своей, армией регулярной, исконной для Дона. Армия эта всем своим поведением давала понять *иногородним* добровольцам, что она-то находится на своей земле, охраняет ее и маневри-

18. Не совсем ясно почему, собственно, Изварин вынужден «бежать» еще раньше, чем командование его полка (в котором, как нам сообщается в главе второй, он был так безмерно популярен), принимает решение действовать в контакте с большевиками. Во всяком случае, глава 18-я свидетельствует о том, что «бежал» Изварин не в пространство и не к добровольцам, но – в штаб Донской армии, что является с его стороны весьма последовательным поступком, если судить по сведениями той же главы восемнадцатой.

рует вне зависимости от главного командования Добровольческой армии как защита Дона. Особая главка,¹⁹ помеченная хххх, в главе восемнадцатой посвящена военному Совету (Совещанию) в станице Ольгинской, куда Корнилов прибыл с армией, отступающей из Ростова на юг. Последнее, впрочем, еще не было решено, и вопрос этот намерен был Корнилов окончательно обдумать с генералом Поповым.

Походный атаман Донской армии прибыл с некоторым запозданием, отчасти подчеркивающим независимость его взглядов и поведения. *Глядя в упор на Попова, усаживавшегося со спокойной уверенностью, Корнилов спросил: готов ли атаман присоединиться к его решению идти с Дона на Кубань? – Я не могу этого сделать! – решительно и круто заявил Попов. – Почему, разрешите спросить? – Потому, что я не могу покинуть территорию Донской области... Прикрываясь с севера Доном, мы в районе Зимовников²⁰ переждем события* – отвечал Попов, заявив при этом, что оттуда он может развить в любом направлении партизанские действия, и что *настроение казаков таково, что их не следует выводить за пределы области.*

Переговоры в станице Ольгинской,²¹ как они изображены в главе восемнадцатой, дают свое-

19. О функции главок, помеченных звездочками, см. на стр.

20. Имелись в виду Задонские степи в Сальском округе, юго-восточной части Области Войска Донского; у левого притока Дона, Маныча. Там сосредоточены были самые крупные конские заводы донщины.

21. Станица в 30 км от Новочеркасска в Черкасском округе Области Войска Донского.

образное освещение стратегии и тактики Добровольческой армии, той ее явной растерянности, которая заставляла, казалось бы, решительного Корнилова менять несколько раз свои планы. Хаос и разьединенность «умов» командующего генералитета здесь рисуется почти неправдоподобной (Корнилов *медлит с намеченным отступлением на Кубань, ожидая приезда походного атамана Войска Донского*)²². Это ожидание оказывается напрасным, т.к. генерал Попов решительно отказывается от объединения сил при отступе на Кубань и предлагает это объединение на Донской земле, что атаману кажется не только единственно резонным для Области Войска Донского, но и единственно конструктивным в стратегическом отношении для объединения Добровольческой армии. – *Нет!* – восклицает Корнилов, *вчера еще склонявшийся к тому, чтобы идти в задонские степи и упорно оспаривавший противоположное мнение генерала Алексева* (т.е. отступление на Кубань, где, прорвав большевистский фронт, соединиться с отрядом Добровольческой армии, действующей под Екатеринодаром, а если предположить неудачу... то дойти до кавказских гор и распылить армию). И Корнилов, в этот день особенно предупредительный к Алексееву, несмотря на здравые возражения лучшего из своих стратегов (генерала Лукомского), принимает решение отступить на Кубань в направлении к Екатеринодару. (Здесь и кончается жизнь Корнилова, убитого во время прорыва).

22. Подчеркнуто всюду мной. Д*.

Что касается Войска Донского, то атаман его, избрав Дон единственным плацдармом, на котором следовало ему сосредоточиться, – тем самым предопределил судьбы партизанских дивизионов, о которых и пойдет речь в следующих книгах «Тихого Дона». Здесь, в восемнадцатой главке, несмотря на явную ее скомканность и рваность, что, впрочем, характерно для всех глав романа, где дается суммарное описание обстановки дня, текущих событий, видна завязь дальнейших судеб главного героя романа – Григория Мелехова и персонажей, с ним ближайше связанных.

И здесь вдруг оголяются возможные ходы связей Мелехова с Извариным, который, надо думать, не для одного политического диалога с Григорием «вскакивает» в роман (глава вторая части пятой) в качестве своего рода шута горохового, дабы развлечь публику своими идейками, а затем исчезнуть.

О том, какова была в дальнейшем связь Мелехова, одного из сильнейших казачьих офицеров Повстанческой армии, с кадровыми частями Донской армии, можно представить себе по главам XXVIII-XXXVIII шестой части третьей книги. Несмотря на всю фрагментарность, дробность глав этих – повествование дает четкую картину сильного повстанческого рывка на Дону, и он явно не мог быть таким сильным рывком, если бы восставшие станичники не опирались на Донскую армию. ...*Двадцать пять тысяч казаков сели на конь. Десять тысяч пехоты выстачали хутора Верхне-Донского округа... где-то около Донца держала фронт Донская армия, прикрывая Новочеркасск, готовясь к решающей схватке.* Именно

в этом объединении восставших и Донской походной – была главная опасность для красных. Мелехов *раскидал* свою 1-ю дивизию по Чиру, в то время как Донская походная сдерживала натиск красного фронта с юга-запада. Нет никаких оснований полагать, что при такой взаимной связи – могло не быть встреч меж казачьими разъездами и штабами.

Несомненно, что именно здесь, на развороте событий, восстаний, и должны были происходить уже не политические диалоги, а живые встречи и взаимные воздействия между Мелеховым и Извариным, которому, естественно, надлежало стать идеологом Донского восстания. То, что этих встреч в романе не произошло, есть несомненный след последующей «работы» «соавтора», всячески стремившегося изъять из повествования закономерность повстанческих настроений главного героя.

Если Атарщикова и Изварин по замыслу автора явно должны были играть роль духовного и политического вдохновителей Донского восстания, представляя донскую интеллигенцию (воинскую, разумеется, ибо казак – всегда воин), то для упомянутого каргинского атамана Лиховидова роль в романе готовилась сугубо практическая, быть может для станичников потому и ценнейшая. Диковатый авантюризм Лиховидова даже и с той *дымкой таинственности*, который гнал этого казака из Персии в Албанию и *чуть ли не в Испанию* – сочетался в нем, согласно его типично-казацкому нраву – с практической сметкой и деловитой решительностью.

Именно этот характер, при том, что Лиховидов на своем веку сколотил несколько казачьих отрядов, *отчаянных сарви-голов, выполнивших некую особую миссию в странах Европы, – как нельзя больше соответствовал персонажу, пустившему по Обдону повстанческого петуха. Персонажу этому, – могущественнейшему казачине ...вся массивная фигура его, выпуклые чугунно-крепкие валы мышц... на груди и руках изобличали в нем присутствие недюжинной силы...* II,5,XXIV) – несомненно было предназначено нечто существенное в делах Верхнедонских, и начал он с того, что взял в свои руки так называемую Мигулинскую расправу (т.е. тот казачий бунт против красных, который весной 1918-го возник в Сертакове и перекинулся в станицы Мигулинскую и Казанскую). Именно в связи с этими событиями казаки станицы Каргинской избрали своим атаманом Федора Дмитриевича Лиховидова, которого *не только силой, но и умом не обнесла... природа* и который, услышав о бое под Сертаковым, сумел направить туда всех каргинских фронтовиков, а затем, *под угрозой выселения, всех «мужиков»* (иностранцев), не принимавших участия в защите Дона. II,5,XXIV.

Самый факт приезда вешенских казаков на спрос у каргинского атамана свидетельствует о том, что не в одном своем юрте, но едва ли не по всему округу, а быть может и шире, по Обдону – распоряжался в ту пору Лиховидов сколачиванием противобольшевистских сил. И не иначе как командирским словом является сказанное Петру Мелехову, прибывшему в Каргинскую со своим отрядом

(...*Поезжайте-ка обратно да ждите приказа. Казаков хорошенько качните... Ведь вопрос-то об их шкурах...* II,5,XXIV). Несомненно, что Лиховидову надлежало еще и еще возникнуть в романе по ходу повстанческих событий. Однако он исчезает из поля зрения читателя подобно Изварину, и смысл появления этого персонажа только единожды остается загадочным. Сопоставляя возникновение Лиховидова с аналогичными, мы лишь вправе заключить, что «соавтор» сберег Лиховидова в качестве колоритной фигуры, украшающей (?) повествование, по обыкновению убравши связующие звенья и резон данного сюжета в романе. Убрал, выправляя идейную суть романа.

Гипотезу о связях главных героев и самого хода повествования с персонажами, недопущенными «соавтором» к действию, – нам придется отложить до окончательных выводов об отсоединении текста романа. Но и сейчас, в пределах исследованного, мы вправе сделать паузу, заметив столь явственные лакуны, утраты, несовместимые связи и прямые подтасовки. Тем более, что третья книга начинается со странно лоскутных главок, и эти лоскутки отнюдь не безразличны в отношении главной темы эпопеи.

После совета в станице Ольгинской Корнилову, ведущему Добровольческую армию, стала ясна невозможность согласованных действий с Донской походной армией, так как донцы к тому времени (начало 1918-го) уже осознали себя не только пособниками в борьбе с большевиками, но – оплотом Области Войска Донского (надеясь уцелеть в рево-

люционном переделе России и отбиться *от Москвы* сепаратно).

Тем самым Донская походная не могла не оказаться для автора «Тихого Дона» в фокусе событий гражданской войны на Дону, не могло не быть в романе глав о жизни *степняков* на *отводах* в дни отступления из Новочеркасска и Ростова под напором *красных*. Автор не мог опустить эту тему уже по одной только причине связанности ее с темой Верхнедонского восстания. О том, что штаб Донской армии направлял повстанческое движение и партизанщину по всей области, известно не только из истории борьбы Дона, но – из самого романа. В различных главах третьей книги мы встречаемся и с начальником штаба Донской армии Сидориным, и с другими *степняками*, появляющимися в северных округах. Это своего рода сигналы, оповещающие читателя о том, что были связующие главы, затем утраченные. Сигналы эти разнообразны. Так, в начале третьей книги в главах второй и шестой мы находим совершенно неожиданные для контекста ослепительные описания задонской степи, нравов конских косяков, там пасущихся, характеры атарщиков, живущих дикой, слитой с природою жизнью. Это – фрагменты каких-то неведомых глав, инкорпорированные чьей-то неумелой и безразличной рукой, окаймляющие эпизод слишком незначительный и неподходящий для высоких лирических песнопений силе и мощи природы. Медитации эти решительно не имеют никакого отношения к тому, что Михаил Кошевой, случайно попав в Задонье, проявил себя на *отводах* жалким трусом

и еле унес оттуда ноги. Можно предполагать, что «приключения» Кошевого составляли – в утраченных главах об *отводах* – какое-то звеньице, однако сами по себе не представляли для автора интереса. Важнейшее оказалось опущенным, но можно догадаться хотя бы по репликам атарщика Солдатов (III,6,III), каким было миропонимание тех, связанных с Донской армией персонажей, которые способны были целовать... *землю донскую, казачьей нержавеющей кровью политую степь* (III,6,VI).

В известной мере читатель «Тихого Дона» может это миропонимание, идеи и чувства себе представить, сопоставляя со степной лирикой означенных глав третьей книги вышесказанное об утраченных персонажах (Изварине, Атарщикове). Здесь, кстати, следует оговориться, что возвращение к исследованному и забегание вперед оказывается неизбежным при тщательном отсоединении двух текстов: авторского и «соавторского».

Так, в одной из первых глав четвертой части автор недвусмысленно говорит о том, что донское казачество тем и выразило свое сочувствие русской революции и участие в ней, что немедля казаки-фронтовики, брошенные на защиту старого режима или Временного правительства – ослушались своих офицеров, повернули к ним спины и ушли на Дон. Затем, что уже явствует и из позднейших глав второй книги, оказывается, что стоило казакам *возвернуться* в свои станицы, как вернулись они к вечной своей нетерпимости к *иногородним*, теперь выразившейся в желании поскорее избавиться от хлынувшей на Дон *белой* армии, от ее спутников –

беглецов с севера и от поддерживающих их немцев, а также, не в меньшей степени, и от большевиков, засылающих на Дон красногвардейские отряды, продотряды, а также различных агитаторов. Хотя отдельные казачьи сотни и действовали под командою *белых*, тем не менее еще до конца 1918-го казаки не были на стороне так называемой контрреволюции и лишь защищали свой *тихий Дон* от тех, кто мог посягать на их земли, стремясь разделить их *иногородним мужикам*.

И автор, достаточно умело показывает нам и своеобразие «большевизма» тех казаков, которые опирались на красных. Шли они во имя защиты Дона от всяческих утеснений и тягот со стороны *белых*, мстя старорежимным утеснителям.

На сборище фронтовиков в станице Каменской, происшедшем зимой 1918-го, четко выразилась эта казачья подкладка тех и других устремлений. Защищали свой Дон, и в этой защите *сказывался всё же революционный*, а не контрреволюционный дух тогдашнего казачества.

Именно так, а не иначе, откликнулись они на всероссийскую революцию.

На Каменском сходбище фронтовиков – искреннейшие *крики одобрения и живой отклик* у казаков получил тот свойский фронтовик (делегат), который говорил свое слово не красно, не бойко и не звонко, но трезво, *как тавро ставил*, размышляя вслух, *как обойтись... без кровавой войны, потому что и так три года с половиной мурели в окопах*. Казак этот сказал о самом важном для донцов и предлагал для них наилучшее (*...Надо нам послать своих от*

съезда депутатов в Новочеркасск и добром попросить, чтобы добровольцы и разные партизаны уходили отсель. А большевикам у нас то же самое делать нечего. Мы со врагами рабочего народа (красные всё напирали на врагов трудового народа, которых с ними вместе следовало отразить казакам) – сами сладим. Чужой помощи нам покуда что не требуется... свою власть надо и сделать...

Но победили более горячие головы, чем этот казак, и на съезде в Новочеркасске был прочитан ультиматум Военно-революционного комитета, где, в сущности, главными были такие слова: *Мы казаки, и управление у нас должно быть наше, казачье. А на вопрос: Что общего у вас с большевиками? ответ последовал характерный: – Мы хотим ввести у себя в Донской области казачье самоуправление.*

Подтелков грозно шумел на собрании, требуя от Каледина ответа: *Зачем приютил на казачьей земле разных беглых генералов... Через это большевики и идут войной на наш тихий Дон (II,5,X).*

Выходит, что и в казачьих горячих головах была та же мысль, что и трезвой голове того казака, который *шмургая носом*, ставил простецкое и спокойное свое *тавро*.

И Подтелков, и Кривошлыков, и Лагутин одно только и твердили на все лады: *мы казаки, и управление у нас должно быть казачье... мы хотим ввести у себя в Донской области казачье самоуправление; повторяли неустанно, что нечего, дескать, делать беглым генералам (т.е. всё тем же иногородним, с Москвой связанным) – на казачьей земле. Наша казачья земля – вот нехитрая казацкая идея*

которую с явным пониманием дела до глубин и оттенков ставит автор «Тихого Дона» в основу революционных требований донских станичников. На ней и зиждилось Донское восстание во всех его стадиях. А требования были воистину послефевральские, – так как и тот немногословный казак, глядевший в корень, сказал ясно, что – не прежнее старорежимное атаманство собирались восстанавливать казаки, а *свою власть ставить*. Это на языке рядового казачества означало, что иногородних ставленников, каковыми были фактически куренные и областные атаманы при старом режиме, – терпеть не собирались, – а были намерены и впрямь выбирать своих.

В сущности, в эту задачу непременно входила трудовая суть этих *своих*, т.е. по станицам речь шла о почтенных или сильных (из молодых), и отличившихся в деле военном или хозяйственном, – о подлинных станичниках, а не о тех (даже из казачьего племени происшедших), которые вышли в конторские люди или сделались офицерами российской армии (обучившись в кадетских корпусах или юнкерских училищах).

О том, как казаки эту *свою власть ставили*, автор рассказал в двадцать третьей главке пятой части романа. (Главка эта, кстати сказать, дает исток Донского восстания, каким оно затем развернулось позднее – уже в конце 1918-го).

Всё началось с того, что слух по станицам прошел об умных мигулинцах и казанцах, которые побили и взяли в плен красногвардейцев одного отряда, отступавшего на север под напором белых

и немцев. Теперь по станицам явилась необходимость в отрядах казаков для изгнания красных и для защиты куреней (...*Ведь не позволим же мы, чтобы мужики обещивали наших жен и сестер... надругивались над святыми храмами, грабили наше имущество...*).

Затем... *Над хутором шатнулся набатный гуд и казаки пошли на майдан... Собрался весь хутор. Баб не было. Одни старики да казаки фронтового возраста и помоложе... С диковинной быстротой был тут же избран атаманом Мирон Григорьевич Коршунов... он вышел на середину, конфузливо принял из рук прежнего атамана символ власти – медноголовую атаманскую насеку... старики встретили его подымающими криками: *Бери насеку. Не сопротивляйся, Григорич! Ты у нас на хуторе первый хозяин – не проживешь хуторское добро! – Гляди, хуторские там не пропей, как Семен. – Но-но... этот не пропьет. – С базу²³ есть чего взять! – слупим как с овечки!.. – Выбирали не так, как прежде... без лишних церемоний, не для видимости, деловито: «Кто за Коршунова – прошу отойти вправо. Толпа вся хлынула вправо, лишь чеботарь Зиновий, имевший на Коршунова зуб, остался стоять на месте один, как горелый пень в займище». Затем избрали и командира отряда. Таким же порядком шло и становление своей власти по всем станицам и хуторам Обдонья. *Советы прикрыли; распоряжались выбранные народом атаманы и казачий круг; конные отряды,***

23. Т.е. со двора. Имеется в виду скот, который был у Коршунова в достатке.

предводимые вчерашними фронтовиками, несли дозоры и выходили на ловитву *красных*.

Итак, к весне 1918-го, после кровавой стычки с красногвардейцами Второй Социалистической армии, бесчинствовавшими в куренях хутора Сертакова, – казаки увидали в *красных* своих врагов, посягателей на станичный уклад. Расправа с экспедицией Подтелкова была началом братоубийства; залогом Донского восстания, т.е. слияния казачьих отрядов в единую повстанческую дивизию, которая затем должна была координировать свои действия с командованием атамана Войска Донского, а позднее с командованием Добровольческой армии.

Между тем, казаки по-прежнему настороженно и неприязненно относились к белым, и время (затоптанные поля и уничтоженные запасы) с каждым днем усиливало их раздражение. Оно усугубилось еще и появлением на Дону германской комендантской службы.

О том, что казаки не только не желали терпеть хозяйничания немцев, но и сопротивлялись яростно первому же их поползновению, повествуется в первой главке третьей книги: (...Почтенный Мирон Григорьевич Коршунов, явившийся на станцию Миллерово по домашним нуждам, у железнодорожного переезда *первый раз в жизни видал немцев*. Бравый ландштурмист, сразу же оценив добротность коней Мироновых и его брички, пригласил хозяина сойти, – а на слова: *не трожь, не дам коней*, – схватился за винтовку, но тут же упал плашмя от бойцового удара, который *почти не размахиваясь* нанес ему

по скуле старый казак Мирон Коршунов). А Пантелей Прокофьевич Мелехов, сват Мирона, в эту же пору возвращавшийся из Новочеркасска, *увидав аванпосты баварской конницы, двигавшейся вдоль железнодорожного полотна, – страдальчески избочил бровь, глядя, как копыта немецких коней победно, с приплясом попирают казачью землю. Эти ширококрупные лошади... лоснились под ярким солнцем, и уж разумеется, добрый хозяин Пантелей Мелехов хорошо знал, на чьей пшенице раздобрели до лоску немецкие кони.*

Хозяйский огляд казака Мелехова выражает и авторский взгляд на отношения Донского атаманства с Германией. Автор с явным скептицизмом смотрит на заигрывания с императором Вильгельмом, затеянные атаманом Красновым (III,6,IV) в целях признания *самостоятельного существования Всевеликого Войска Донского, а впоследствии федерации под именем Доно-Кавказского союза.* К слову сказать, скептицизм этот, разделявшийся многими из донских патриотов-«самостийников», отнюдь не согласуется с тем, что происходит в романе через несколько главок после упомянутой, когда генерал Краснов увивается вокруг прибывшей военной миссии держав Согласия и неизвестно зачем *кричит сорвавшимся голосом: «За великую, единую и неделимую Россию, ура!»* Но не будем задерживаться на этой странности текста. Тем менее стоит задержаться на том противоречии, что книги III-IV «Тихого Дона» состоят из ряда несовместимостей, на чем необходимо будет остановиться особо.

Здесь же, по ходу изложения, отметим тот факт,

что автор не только в этом случае, но и постоянно, судит о событиях, исходя из интересов казака-земледельца, казака-воина, ограждающего землю свою и независимость от всего *иногороднего* (будь то соседние *мужики*, или *хохлы*, будь то сама Москва с ее всеохватом или корыстные иноземцы). Эта народная казачья оглядка на все *иногороднее*, как видно, в природе самого автора и является его главным идейным принципом в романе. Ею, оглядкой этой, определяется скептицизм автора ко всему, что чуждо жизни донских куреней, освободившихся от вековых тенет службы российскому царскому режиму. И белая, и красная зависимость не по душе автору, и он в равной степени против притязаний Корнилова-Деникина и против большевиков. Автор явно сочувствует походному атаману Попову, когда тот отказывается идти с Корниловым за пределы Области Войска Донского, и казанским, мигулинским станичникам, поднявшимся против красной агитации, против приемов насилия. А когда следующий за Поповым походный атаман, вынужденный к слитным действиям с Добровольческой армией, обуздывает народную Повстанческую и подчиняет ее командование воинской дисциплине Донской армии, – автор на стороне восставших верхнедонцев, своего любимого героя Григория Мелехова и его соратников (IV,7,X,XV). Заметим при этом последовательность автора в его эмоциональной, романтической приверженности стихийной героике повстанцев, которых сама логика событий приковывает к верховному Деникинскому командованию (осуществлявшемуся через командо-

вание Донской армией). Чтобы понять и почувствовать, с кем и за кого автор, достаточно прочесть главы, где фигурирует князь Георгидзе, офицер, присланный для военного руководства и догляда из Деникинской армии в штаб армии повстанческой (III,6,XXXVIII,LVIII), и главу, где командир 1-ой Повстанческой дивизии Григорий Мелехов со своим начальником штаба Копыловым являются к генералу Донской армии Фицхелаурову (IV,7,X). Исторические события, ходу которых неукоснительно верен автор-летописец, развиваются так, что очевидна разумность стратегии Георгидзе и военных распоряжений Фицхелаурова. Между тем автор не скрывает своего отвращения к этой холодной, чуждой народному сознанию разумности.

Ни Георгидзе, ни Фицхелаурову дела нет до этого сознания, которое Георгидзе характеризует как *хамство*, проснувшееся и вышедшее из берегов. Автор дает эти два портрета на контрастах, и особенно силен этот контраст в упомянутой главе совещания, куда затесался, казалось бы ни к селу ни к городу, гонец из станицы Алексеевской, высоченный казачина, подпирающий потолок лисьим рыжим своим малахаем. Хотя настроения на севере Обдонья освещены были алексеевским станичником (...народ какой ...и гребтятся им и робеют...) и хотя положение казаков под властью красных нарисовал гонец с той короткой ясностью, которую, казалось бы, должны были оценить в штабе Повстанческой армии (...лошадков брали, зернецо, ну конечно рестовали народ, какой против говорил. Страх в глазах, одно слово...) – Георгидзе явно не интересуется ни

станции, ни станичником. Казак был ни к чему, и слова его незначимы в свете тех умных, почерпнутых в военной академии мыслей, которые собирався высказать Георгидзе. Не такие, как этот живой и нелепый, а обозначенные цифрами в донесениях и точками на картах должны были одержать победу. Ради плана этой победы и прибыл в Повстанческую армию Георгидзе. Этого, в малахае, попросили не мешать совещанию. *Казак поднялся со стула. Пламенно-рыжий с черными ворсинками лисий малахай почти достал до потолка. И сразу от широких плеч казака, заслонивших свет, комната стала маленькой и тесной.*

Автор любителюется на казачину, и его герой Мелехов перекидывается с ним словечком, дразня этим *иногороднего*, штабного белоручку (Григорий *всмотрелся... в лицо Георгидзе, тонко черщенное ...не обветренное, в мягкую белизну рук, белую ладонь*, и впечатление от интеллигентного князя вызвало у Григория особенную свойскую приязнь к уходившему не солоно хлебавши гонцу из станицы Алексеевской).

На таком же приеме контраста народного почвенного начала с *иногородним*, чужим, неприятно-барственным – построена и сцена в ставке генерала Фицхелаурова. Два дивизионных командира: *грузный, рыхлый* генерал и кремень-казак Мелехов (мускулы, скуластые щеки, дубленые ветрами и солнцем) одним только видом своим были чужеродны. В поединке этих двух дивизионных, каждый из которых был уверен в своем превосходстве, – автор выразил многое. Читатель не может здесь (так же как во внезапно возникшей, неодолимой неприязни к Георгидзе) не увидеть роковую причину гибели

того дела, в котором, казалось бы, обе стороны были заодно. Причем эти мастерски исполненные (не считая «соавторских» вклиньев – словесных, фразеологических и сюжетных) внутренние поединки в армиях, совместно отражающих большевиков, даны с максимальной объективностью исторической документации. Несмотря на внутреннюю победу казацкого, народного начала – разумность военных операций явно на стороне образованных стратегов.

ИНОГОРОДНИЕ

Иногородние в романе «Тихий Дон» отнюдь не только пришельцы, событиями насылаемые на Дон.

Среди основных персонажей есть несколько *иногородних*, чужеродных казачеству по существу своей психологии, хотя они и постоянные жители мест, которые являются «средоточием» романа. Психологически *иногородними*, Петербургу или чужой, всероссийской действительности принадлежащими, являются Моховы (сам – купец и мелкий предприниматель Сергей Платонович, его дочь Елизавета Сергеевна, его сынок-проныра, гимназист Володя, отцовский наушник) и Листницкие (почтенный генерал, живущий в своем имении уединенно-барской жизнью и его единственный сынок, казачий офицер Евгений Николаевич Листницкий – один из главнейших героев «Тихого Дона»).

Все эти персонажи, живя бок о бок с семьей Мелеховых, Коршуновых и прочих станичников и постоянно общаясь с казаками, отъединены от них пропастью неодолимой, принадлежат к российскому верхнему слою или слоям (купец Мохов хотя и тянется в Ягодное – сидит у Листницких на кончике стула и слушает генерала почтительно). Функция персонажей этих в романе – связующая, т.к. они-то и представляют собой российскую действительность на донском «средостении».

Каждый из названных героев по-своему *харак-*

терен для российского бытия начала двадцатого века, и то *бурьяно-копытное зло*, которым к той эпохе заполонилась Россия во всех многообразнейших своих областях, высасывая живые соки и оплетая молодую прекрасную поросль. Этот вредоносный оплет явлен в романе и Моховыми и Листницкими. Однако, автор вовсе не склонен здесь нагнетать злые качества и поступки, выходящие за средний уровень. Именно этот средний уровень, ординарность того, что именуется он *бурьяно-копытным злом* – по замыслу романиста и оказывается удушающим.

Мохов, хоть и первый богатеи не только Татарского хутора, но и всего округа, хоть и занимается всяческими спекуляциями сверх торгово-промышленных дел, хоть и держит, тем самым, хуторских и окрестных станичников в деловом подчинении, – однако не показан он ни «держимордой», ни «мироедом», ни *царевым досмотрщиком и глазом*, подобно предку своему *Никишке* Мохову. Напротив, он даже готов выручить казака (если это выгодно), а впрочем, – он даже либерал; выписывает «Русское Богатство», допускает у себя за столом вольнодумные речи, а дочери своей предоставляет ту свободу, какая нужна столичной курсисточке с «широким» взглядом на любовь, брак и семью.

Но... Напрасно казаки-богатеи полагают возможным общаться с Моховым на равной ноге. Несмотря на свое демократическое происхождение, Мохов утвердился в сословных предрассудках, как будто был родом из столбового дворянства. Сватовство почтеннейших Коршуновых принимает Мохов, как

поступок дерзостно нелепый, и придя в ярость, гонит Митьку Коршунова, как забравшегося в его владения вора. Сватовство это и весь этот эпизод, как по неотвязному настоянию девицы Моховой красивый казак Митька *покрыл* ее, как затем хотел спасти поруганную честь (что оказалось ни к чему ни ей, ни папеньке) – является характерным штрихом образа *бурьяно-копытного зла*, оплетающего казачьи станицы со стороны тех, кто представлял на Дону российскую культуру ко времени событий войны и революции.

– Ну, Платоньч, ты человек грамотный, расскажи нам, темным, что теперь будет? – спросил один из стариков-казаков Мохова, когда до хутора Татарского дошли вести о Февральском перевороте. Но *грамотному* нечего было сказать казакам. Ничего, что бы свидетельствовало о понимании происходящего, об интересе к тому, что ожидало вопрошающих. И примечателен для дальнейшей, настойчиво ведомой мысли автора, – тот досадливый взмах руки Мохова на слова казака Богатырева: *Войну новая власть может кончит... Может ить быть такое? Ась?..*

Но Мохову не только темно происходящее в Петербурге, ему неясно и то, в какой мере народ ненавидит войну, три года длянущуюся, отягощен ею и осуждает затеявших. Это непонимание, с момента переворота, является тем самым гвоздем излагаемых событий, и досадливый взмах руки купца Мохова подчеркнут следующим за ним диалогом Сергея Платоновича с Евгением Листницким, только что прибывшим с фронта. Солдат-

скую (в данной ситуации – казачью) массу определяет есаул Листницкий Мохову, как *банду преступников, разнuzданных и диких*.

Для «банды», которая и была русский народ, измученный войной до одичания, – революция была сигналом и правом на возвращение домой. Для русского офицера, обезличенного кадровой службой (таков и был Евгений Листницкий) – революция являлась лишь сигналом к интенсивности военных действий, замороженных командованием (которое теперь сменялось).

Роль Листницкого в эпопее «Тихий Дон» отнюдь не исчерпывается блудливым запятнанием любовной связи Григория Мелехова и Аксиньи Астаховой. И эта тема, и подлинная влюбленность Листницкого в жену своего друга, офицера Горчакова, лишь эпизоды в главной линии: Листницкий – на путях войны и революции, гражданской войны.

Характер есаула Листницкого раскрывается в постепенном развороте событий.

В 1916-ом Листницкий со своим полком – на болотном фронтовом сидении. Настроение в землянке и подавленное и настороженное. Чувствуются предвестные толчки близящейся революции. Если снять с соответствующих глав (2,IV, 1-3) темные пятна противоречивого вмешательства «двойника-соавтора», то волею авторского «сцепления мыслей» читатель окажется в той атмосфере преддверия Февраля, когда сквозь мрачную фронтовую фантазмагорию уже вырисовывались контуры нового. На этом предгрозовом фоне автор рисует есаула Листницкого со всей его добросовестной повадкой

службиста, как лицо непроницаемое по своей ординарности. Если снять неправдоподобное и противоречащее замыслу пятно, присочиненное «двойником», т.е. энергию доноса на Бунчука (именно доноса, а не донесения по службе, какие писались совсем другим языком и не с такой оголенностью желания выслужиться), снять и энергичское предприятие обыска у пулеметчиков – поведение Листницкого предстанет перед читателем, как типичное для среднего, кадрового офицера. Он знает службу и не отстывает от нее и от тех правил офицерской чести, какие усвоены с детства, раз и навсегда. Листницкий храбр (как положено быть кадровику), он неплохой товарищ в офицерской среде и даже по-своему (как положено) любит солдата (пока солдат послушен и знает свое место). Листницкий – не тупица, и в пределах привычных идеалов, утверждаемых (со времен юнкерских) – даже склонен пофилософствовать, даже способен к лирическим переживаниям (казацкие песни, в которые вслушивается он на фронте); чувства его при виде обожаемого монарха, униженного, изгоняемого, когда *в глазах его падала от края черной папахи царская рука, отдававшая честь, в ушах звенели бесшумный ход отъезжающей машины и унижительное безмолвие толпы, молчанием провожавшей последнего императора...* Не забудем, что и в дни, когда даже в правых кругах были иллюзии насчет тогдашнего кумира всех либералов – Керенского, Листницкий пылко воскликнул, явившись в штаб армии: *Ни слова о Керенском! заливаясь смертельной бледностью...* Читателю ясно, что автор ничуть не разделяет

монархические взгляды есаула Листницкого, – что он-то безоговорочно революционен, однако отдает должное неуклонности своего среднего героя.

Это искренние эмоции офицера русской армии. И только этими необоримыми чувствами и взглядами будет впредь руководиться Листницкий, готовый *жизнь положить за старое, но честному революции не принявший*. На этой основе типа русского кадрового офицера, некоей стандартной посредственности (в своем роде – даже добротной), Листницкий являет собой еще и тип офицера именно казачьих войск, шефом которых был сам Николай II и злополучный мальчик, наследник Алексей. В отличие от таких командиров, каковы Атарщиков и Изварин, Листницкий ничуть не озабочен исконными казачьими вольностями, но проникнут важностью того особого «доверия», которое оказывало казакам самодержавие. Принадлежа к тем исполнительным командирам казачьих войск, которые без раздумий вели свои роты в любую карательную экспедицию, – Листницкий привык видеть в казаке силу, всегда готовую к борьбе с революционной крамолой. Не личная жестокость или фанатизм в таком случае руководили Листницким. Ничуть; просто здесь была неколебимая уверенность, что так надо и нельзя иначе. И по темпераменту своему вялый, уравновешенно – равнодушный есаул Листницкий при случае, когда был при исполнении долга, загорался нужным азартом усмирителя. Как читатель видит, этот служебный азарт произвольно просыпается в есауле – в предоктябрьские дни в Петербурге.

В эти дни, окрыленный перспективой победы русского оружия под водительством генерала Корнилова, лелея надежду на реставрацию *старого*, Листницкий даже вознамерился *сродниться* с казаком (...*мы должны... сродниться с казаками*). Слово *сродниться* в устах Листницкого означало: вернуть утраченную власть над казаком, дабы послушно двинулся в бой «до победного конца». Но Листницкий верен себе, и когда вскоре затем случится ему поговорить с казаком своей роты Лагутиным, – с первых же слов выясняется, что *сродниться* невозможно. И опять все то же, главное: *Домой наверное хочется, а?* – спрашивает Листницкий. *Как же, господин есаул. Конечно, гребится поскорей возвратиться... – Едва ли, брат, скоро придется вернуться. – Придется. – Войну-то не кончили ведь? – Скоро прикончат. По домам скоро...* За диалогом этим, вновь и вновь подчеркивающим полную невозможность *сродниться* с казаком при условии столь разных понятий о том, что произошло в России, – следует и жестокий эпизод у Путиловского завода, когда есаул Листницкий, забыв благие намерения, заставляет своих казаков плетью избивать рабочего. С такой подоплекой (она четко прочерчена автором) Листницкий подходит к рубежу двух революций и вступает в Добровольческую армию, готовясь спасти Россию от большевиков.

– *Мы в сущности – пешки на шахматном поле, а пешки ведь не знают, куда пошлет их рука игрока,* – говорит есаул Калмыков, собрат Листницкого по фронтовым землянкам и по стойкой вере в начальство (которому, дескать, – лучше знать), по преданности делу Корнилова, руководимой им контр-

революции. Однако не только пешки типа Листницкого-Калмыкова, но и старшие фигуры, уже значительные на шахматной доске тех дней, находились в руках *игрока* столь же серо-ординарного, каковы были пешки.

Роману «Тихий Дон» принадлежит честь первооткрытия широкому читателю того имени, которое больше других заслуживает пристального внимания в разматывании сложного клубка, начало которого завязано в штабе главнокомандования русской армии 1916-1917-х г.г., а кончиком являются последние акты трагедии Деникина и Врангеля. Имя это – скромное и как бы незаметное – генерал Михаил Васильевич Алексеев. Этого последнего из начальников штаба русской армии старого режима – автор «Тихого Дона» считает *игроком* решающим (при всей слабости его решений). Именно Алексееву, что и показано в романе, принадлежала невольно предательская (при всей неукоснительной порядочности этой личности) роль в отношении действий Корнилова, а затем – всего добровольческого движения. Алексеев руководил белой армией вначале в качестве верховного главнокомандующего, а затем как лицо, как бы представляющее русское правительство, идейно возглавившее белую армию. *Игра* Алексеева показана в главах восемнадцатой (4-я часть) и в – третьей и восемнадцатой главах пятой части романа. Для понимания идейной сути замысла «Тихого Дона» чрезвычайно важно авторское отношение к этим *игрокам*. Пути и судьбу Гражданской войны в своем донском «средоточии» автор ставит в зависимость от той

безнадежной ординарности, какую отличаются *игроки*, вернее главный *игрок*, официальной старой Россией заведенный и тайным Московским правительственным комитетом утвержденный – генерал Михаил Васильевич Алексеев; последнее доверенное лицо Николая II, начальник штаба при его главнокомандовании.

Ясно, что в эпизодах, связанных с Алексеевым, автор исходит из серьезности сыгранной им роли. *Игра* начинается с самоубийственного выстрела генерала Крымова, кульминацией этой *игры корректного и щепетильного* генерала Алексева является «самоубийство Каледина», так называемый ледовый поход, а затем и напрасная гибель Корнилова на Кубани. Затем происходит все то, что связано с командованием Деникина, рассмотренным в романе изнутри донских дел и неполадок (взаимоотношения с Повстанческой армией, донским атаманом и т.д.). Всеми этими делами *тихо и щепетильно*, с упрямой настойчивостью ординарности ведал генерал Алексеев. Восемнадцатая глава четвертой части романа (книга 2-я) посвящена началу *игры*, когда генерал Алексеев в качестве мудрого миротворца сговаривается с Керенским о вызове в Петроград боевого генерала Крымова, полки которого по прежнему сговору с генералитетом старой армии должны были двинуться против Смольнинской говорильни, утвердив военную диктатуру.

Генерал Алексеев принял на себя звание главковерха, как сказано, единственно по причине желания спасти Корнилова, замешанного в заговоре. Причем, насколько можно судить по кратчайшему

изложению этих событий, генерал Алексеев действительно принимает звание главнокомандующего, уверенный, повидимому, в прочности и серьезности положения Керенского, как не сомневался только что в неколебимой прочности самодержавия.

Глава восемнадцатая явно представляла собой более полное изображение событий, о чем можно судить по общей авторской манере и месту, которое отведено в романе генералу Алексееву и результатам его руководства. Что глава эта подвергалась редактированию и своеобразным вставкам со стороны «соавтора», видно хотя бы по абзацу: *Разбитая морально, крымская армия еще агонизировала...* Не говоря о несвойственном для живописной манеры автора стиле – газетно-публицистическом – (с «умными» словечками: *инерция, агонизировала, вспышка реакции*), в абзаце этом наличествует один из тех образцов полуграмотной несвязицы, которая нет-нет да шибанет читателя, удивит до полного недоумения. Таков нелепейший образ Керенского, *растерявшего... мясистость одутловатых щек и наполеоновски дрыгающего затянутыми в краги икрами*. Ведь если автор и не Лев Толстой, и даже не Бунин, то все же нельзя усомниться в его утонченной грамотности и четкости изобразительных средств. Наблюдая в этой главе странную метаморфозу изобразительных средств (если *дрыгающие по наполеоновски краги и растерянную мясистость одутловатых щек* можно счесть изобразительными средствами) – невольно вдумываешься и в самую композицию главы, удивляясь непоследовательности поведения персонажа, от которого читатель меньше всего

ожидает каких-либо зигзагов. Так мы узнаем, что на совещании, собранном Корниловым, *большинство присутствовавших высказалось за продолжение борьбы с Временным правительством*. Казалось бы... при том, что сам Корнилов неудержимо рвался в бой, какие могли возникнуть сомнения, если и большинство из его штабных было с ним заодно. Но Корнилов почему-то вдруг начинает сомневаться, и выслушав возражения Лукомского, заявляет вдруг (правда, *хрустнув при этом пальцами и глядя куда-то в сторону угасшими, седыми, словно осыпанными пеплом глазами* что – *...Дальнейшее сопротивление было бы глупо и преступно*. «...»

...Не столько потому, что подобные «оазисы» цветисто – неграмотной речи слишком видны на фоне выработанного авторского слога, но опять же чтобы по этим позывным отметить неблагополучие в самом повествовании, в исторической концепции автора. По предшествующим главам, посвященным ходу революции, читателю был уже представлен генерал Корнилов. Отношение автора к контрреволюционной идее Корнилова отнюдь не может быть отождествлено с восторженным поклонением Листницкого или его друга Калмыкова. Однако как крепкий союзник донских деятелей противобольшевистского объединения, он принят автором. «...»

ДРУГОЙ ВАРИАНТ ГЛАВКИ *ИНОГОРОДНИЕ*

Жизнь *тихого Дона* не раскрылась бы читателю во всех глубинках, если бы не была она соотнесена с русской действительностью, взбудораженной войной и революцией.

Верхнедонский хутор Татарский, со всеми его ериками и левадами, дается первым планом и всегда находится в центре внимания читателя, но ограниченный этот мирок, напоенный соками Обдонской земли, кажется огромным благодаря тому, что на него проецированы исторические события всероссийского разворота.

На переднем плане романа – донщина, представленная разнообразнейшим составом народных персонажей, и подлинная их, для России значимая самобытность раскрыта не в отъединенности, а в органической, исконной связи с всероссийским бытием, хотя связь эта и равнозначна борьбе казачества со всем *иногородним*.

Иногородние даны в эпопее «Тихий Дон» – глазами казачества, в их своеобразно-жестоком, даже беспощадном видении, и это определяет особый поворот видения всего, что идет *из Москвы*. (Здесь следует отметить, что именно эта особенность романа делает его, по существу, неприкосновенным, при любых «соавторских» переделках и вставках).

Глазами станичников Татарского хутора неизбежно видит читатель местного богатея Мохова и распутную дочь Мохова – Елизавету Сергеевну,

о которой так метко замечает блудливый Митька Коршунов: *гля... ну и юбка... как екло, насквозь всё видать*. Он же, Коршунов, Григорий Мелехов, а затем и Аксинья Астахова, представляют читателю петербургского барича (хотя и казачьего полка – есаула) Евгения Листницкого. Отец Евгения, русский генерал в отставке, рассмотрен читателем сквозь злополучную службу у него Григория Мелехова – как лихой охотник и лошадник и как типичный российский барин, каковые гнездились и в обдонских лощинах.

С Осипом Давыдовичем Штокманом знакомится читатель через Федота Бодовскова, прищурившего на него свои калмыцкие глаза, с такой же зоркостью, с какой прищуривал их на летящего *будака*.

Хотя Илья Бунчук появляется впервые в офицерской фронтовой землянке в Полесье, и русский офицер Калмыков обращает на него внимание русского офицера Листницкого, настоящее знакомство с агитатором Бунчуком у читателя происходит под Нарвой, когда он встречается с казаками бывшего своего взвода Никитой Дугиным, Чикмазовым и другими донцами.

Учителя Баланду, который, живя революционной идеей, служит у Мохова и прирос к его дому, отнюдь не общаясь со станичниками, характеризуют не столько его пылкие послефевральские речи на майдане в селе Татарском, – сколько поведение самих казаков, его слушавших, *смущенно потупясь, покрхтывая, тая улыбки*.

Одного из тех в белой гвардии, кто несмотря на служебное усердие – *загубил дело доброволь-*

ческой армии, типичного в этом смысле, генерала Фицхелаурова, видит читатель не иначе как разгневанным взором Григория Мелехова.

Главный герой «Тихого Дона» Григорий Мелехов почти всегда выражает авторское суждение об *иногородних*. Оно беспощадно в отношении представителей держимордства старого режима. Оно презрительно (не без сдержанности) в отношении русского барства и гуляющей золотой офицерской молодежи. Однако Григорий не может не уважать истинную храбрость и подлинный патриотизм, хотя бы и верноподданнического характера. Отсюда – решительный протест Григория – расстрелу Чернецова и офицеров его отряда. Этого же корня – восхищение Григория смелостью коммуниста Лихачева, зверски уничтоженного казаками, или истерический припадок, случившийся с Григорием после отчаянной схватки с храбрецами-матросами.

Создавая облик *иногороднего*, человека пришлого, не понимающего жизни донских станичников и мешающих самоопределению *тихого Дона* – автор тем не менее всегда устремлен к объективной правде и объективности исторической. При этом совершенно ясна идейная склонность автора.

Он ненавидит старый режим и многого ждет от революции. Среди этого многого – самостоятельность Области Войска Донского. На первом плане освобождение этого края от старорежимного *бурьяно-копытного зла*.

О бурьяне речь идет уже в первой книге романа. Так определяет автор укоренившийся на хуторе Татарском – род Моховых (*...выросли в станицу*,

как бурьян-копытник – *рви не вырвешь...*). Моховы – купцы-богатеи, а последний еще и ростовщик, цепко опутавший почти всех хуторских станичников. Сила Моховых тем не менее великодержавная, а не местная, ибо Моховы и служат связными меж провинцией и бюрократической властью Москвы-Петербурга. Недаром прежде чем дать портрет Сергея Платоновича, автор говорит о его предке *Никишке... царева досмотрщике и глазе*. Никишка Мохов доносил на казаков по начальству, вельможе воронежскому, а потомки его уже само собой определялись народом как соглядатаи.

Мохов ведал всю подноготную местных казаков, при этом презирал их, считая дикарями. Хотя Сергей Платонович, узнавши о *великом потрясении*, вышел в своей *енотке*, опираясь на богатую трость, потолковать со стариками-станичниками, – в этой беседе ни Мохов, ни казаки заведомо ничего не могли почерпнуть, и повелев запрячь своего маштака в удобные, *городские* (т.е. не на казацкий образец сработанные) сани – отправился Мохов в Яблочное, имение Листницкого, перекинуться словом с людьми столичными.

Петербург в Яблочном представлен и генералом, и сыном его Евгением, только что прибывшим с фронта и величающим уходящих с фронта солдат (в том числе и казаков) *бандами разнузданных преступников*. Мохов солидарен с офицером Листницким, и так же как он, не верит, что Россия шла ко всему этому развалу с *роковой предопределенностью*, и что *рыба с головы гниет*, т.е., что на Петербурге вся ответственность за поражения и за те естественные

пораженческие настроения, которые теперь охватили измученный войною народ.

Вот эту петербургскую психологию сановников и легиона пресмыкающейся перед ними чиновной мелкоты, этих устроителей судеб народа, которого они и знать не хотят, более всего и ненавидит автор «Тихого Дона», сказав об этом в разных главах по-разному. Вахмистр Каргин, злобный притеснитель солдата, командует этим солдатом в массовом изнасиловании девушки, еще почти ребенка (I,3,II).

Генерал Фицхелауров, мнящий себя стратегом, призванным держать дисциплину в армии, походя оскорбляет Мелехова, храбрейшего из командиров Повстанческой дивизии, и тот клокочет ненавистью к офицерству старого режима (вместо того, чтобы восчувствовать необходимость единства между восставшими казаками и российскими противниками большевиков).

А в последне-трагический для рухнувшей империи момент, который означен калединской формулой: *положение безнадежно*, как ведут себя члены Донского правительства, его *неказачья часть*? Карев, Янов, Светозаров, выведенные автором на суд истории, «гуманно» полагают, что главе, атаману Каледину ничего не остается, кроме самоубийства. (Самое страшное, что в момент их шепотков для самого Каледина это уже решенный вопрос).

Изобразив характерный по своей антигражданственности, антиобщественности типаж старого режима, — ее оплот, — автор тут же с горечью показывает тех, кто стал жертвой этого оплота, невзирая на честную верность присяге. Трагедия

провала восстания на Дону показана именно в этом контексте. Гнилостный грибок «оплота» разъедал любые начинания борьбы с большевиками: будь то связь с восставшими народными массами, могшими стать опорой для белой армии, или – любая помощь с Запада. Он, этот грибок распада, немедленно подтачивал и действия интеллигентского Временного правительства и военный вождизм Корнилова. И он, и его соратники – Алексеев, Каледин, Романовский, даны автором в их объективно-положительных чертах, как жертвы развала режима, но не виновники поражения, ибо круг был замкнут.

Трагический ответ на прекрасно написанных портретах «вождей контрреволюции» – заставляет читателя склонить голову перед погибшими или вынужденными уйти. Между тем, безнадежность их предприятий тем явственнее видна читателю в романе, чем меньше там проклятий и резких эпитетов.

Здесь мы вынуждены примолвить, кстати, что одни только портреты и сцены, связанные с Корниловым и Калединым (II,4,XVIII; XX; II,5,X,XII и др.) свидетельствуют о том, как автор этих портретов – далек от большевистской, вернее, советской интерпретации (что весьма странно сочетается с навязчивым наличием таковой в некоторых главах романа). Белую гвардию, т.е. русское офицерство, не успевшее отдать свою жизнь на полях сражений русско-германской войны, автор не склонен отождествлять с ватагой золотой молодежи: прожженных кутил и бездельников, которые ринулись из столиц

и усадеб на юг и влились там в *белую армию* – не столько желая принять бой, сколько унести ноги. В этом отношении автор вполне совпадает с аналогичным разграничением у Булгакова в его «Белой гвардии» (начало 1920-х годов).

На первом плане романа – верные своему долгу, но вполне посредственные офицеры-фронтовики, вроде Копылова (IV,7,IX-X). Что касается горячих голов, молодых людей с волей и страстной нетерпимостью к тому, что с их точки зрения несет гибель России, – то лучшие из них погибают без поддержки в неравном бою. Такова гибель Калмыкова, которого в упор, во время свободного митинга, еще в канун Октября, пристреливает большевик Бунчук (II,4,XVII).

Так же умирает предательски растерзанный бесстрашный, отчаянный, презрительный офицер Чернецов (II,5,XII), лицо историческое.

Наиболее посредственного из офицеров высших сословий, Евгения Листницкого, автор избрал в герои своего романа, сделал долгим «спутником» жизненных перипетий Григория Мелехова. И не только потому избрал, что тусклость натуры Листницкого, невзирая на тонкое воспитание и образованность, особенно контрастирует с колоритной яркостью и ясностью полуграмотного Григория. Листницкий – типичен для среднего русского офицера. Это персонаж, не лишенный положительных черт. Он честен, верен долгу службы, порядлив и порядочен. В нем даже есть некий пламень привязанности к своим кумирам: государю, к генералу Корнилову. Восторг заставляет Листницкого изме-

нить своей всегдашней респектабельности, и он неистовствует, приветствуя Верховного на вокзале в Москве (II,4,XIV). Сердце Листницкого не выдержало, и он, *бросившись на снег, рыдал, как маленький, при виде упавшей от края черной папахи царской руки, отдававшей честь, в то время как толпа унижительно безмолвствовала*. Когда командир полка приказывает есаулу Листницкому направить свою сотню – в Зимний дворец Керенскому – тот, заливаясь смертельной бледностью, восклицает, рискуя арестом – *Ни слова о Керенском!..* Здесь идет речь о знаменательном для исхода событий Московском Совещании, куда (вопреки желанию Керенского) прибывает Корнилов.

Хотя читателю совершенно ясно, что и самое понятие порядочности у автора и созданного им персонажа не одинаковы, однако ясно и то, что не наделил он своего героя ни одной сильной отрицательной чертой: ни подлостью, ни продажностью, ни подхалимством. И если Листницкий и согласен применять крайние меры к ослушным нижним чинам, то потому только, что искренне верит, что без этого нет дисциплины в армии. Если и соглашается с приказом генерала *произвести обыск в своей сотне, дабы уничтожить революционную крамолу [найти бумажонки с воззванием, призывающим к обнажению фронта (II,4,I-II)]*, то потому только, что считает себя обязанным подчиниться приказу, а также по искренней ненависти к революции. Автору неприятна самоуверенная ординарность Листницкого, однако *сделай он Листницкого подлецом – была бы потеряна выразительная ординар-*

ность. Типическую же ординарность есаула Листницкого автор, по-видимому, считает весьма существенной для своей исторической хроники. Она характерна для офицерской среды старой России, и самое страшное в ней – самодовольство касты, с вытекающей из этого самодовольства антинародностью (солдат и офицер говорят на разных языках, если и вступают в разговор). Именно потому, что в характере Листницкого, согласно замыслу, нет ничего выходящего за пределы благоприличной ординарности, – донос его на Бунчука невозможен и не соответствует образу, а сочинен «соавтором» поверх. Ведь по мнению «соавтора», постаравшегося дорисовать фигуру есаула Листницкого на свой лад, – такой персонаж должен иметь черты законченного негодяя. Ему надлежит проявить себя в качестве трусливого ничтожества (I,3,XXIV), подлеца и карьериста самого низменного толка (II,4,I), и он непременно должен обладать зверской жестокостью. (II,4,XII).

С точки зрения автора, именно такие, каков Листницкий, более всех виновны в погублении дела революции в России. По авторскому замыслу Листницкий противостоит в романе Изварину, Атарщикову, самому Григорию Мелехову – не только как личность *иногородняя* в отношении казачества, но и как тип человека, утратившего народные корни, иссыхающего без живых соков земли. Блеклый и ничтожный Листницкий – не борец, а обреченный.

В романе не один только Листницкий, разумеется, характеризует оторванность культурных слоев

русского общества от народного материка. Здесь и купец-ростовщик Мохов (как-никак выписывающий и читающий «Русское Богатство», журнал либерально-народнического направления), и вечный студент, из передовых – учитель Баланда, и генерал Фицхелауров, мнящий себя оплотом русской армии, и социал-демократы большевистского крыла Штокман и Бунчук. Нетрудно увидеть, что персонажи эти в романе отнюдь не разделены по признаку социальному и идеологическому. Автор объединяет их, невзирая на резкое различие в положениях, бытии и взглядах – для него это прежде всего категория людей, оторванных от почвы. Это тип людей, не вникающих и не желающих вникнуть в жизнь и культуру народной массы, которую полагают коснеющей в невежестве. Эти люди мнят себя носителями высшей цивилизации, а следовательно людьми, стоящими над народом, обладающими особым правом учить и направлять народную массу в то или другое русло. Автор подчеркивает в своем повествовании, что по части неправомерного, самодовольного самоутверждения нет различия между Штокманом и Листницким, Бунчуком и Фицхелауровым; каждый из них по-своему злоупотребляет правом командовать массами, учить эти массы, решать их судьбу.

И автор не скрывает своего одинакового осуждения гордыне Листницкого, Бунчука и Фицхелаурова, – в равной степени, по мнению автора, чуждых народу и далеких от его устремлений. На каждом шагу выявляя в романе свое почвенное народничество, автор не скрывает враждебного

осуждения политическим маневрам социал-демократов и своего неверия в мессианскую роль рабочего класса в России.

Если проследить это направление автора по всему роману, то философия его предстает с очевидностью, тем более явной, что по пятам автора, наступая на него, идет «соавтор», пытающийся скрыть идейную суть эпопеи, заменив авторскую мысль – своею. Между тем автор не склонен теоретизировать, он утверждает свое кредо картинами реалистической живописи, и мысль его вывлекается от эпизода к эпизоду.

В различных встречах, диалогах, человеческих коллизиях автор раскрывает вину высших перед низшими, неосведомленными, не понимающими грозы событий, заплутавшимися. Так, загадочное для казачьей массы событие, разразившееся в Петербурге – Февральская революция – «разъяснена» на хуторе Татарском выспренной и непонятной для казаков болтовней учителя Баланды и уклончиво-раздраженными репликами купца Мохова, явившихся на майдан, дабы поговорить о случившемся. Причем, автор не жалеет красок, чтобы показать, до какой степени всем этим *иногогородним* нечего сказать станичникам. Зато в своей среде, в доме генерала Листницкого и Мохов, и его собеседник Евгений Листницкий уже вполне распоясываются в злобном раздражении на взбодраженную солдатскую массу.

Еще более силен авторский заряд, направленный против высших – в сцене офицерского собрания и в эпизоде столкновения Листницкого с казаком

Лагутиным в Петербурге в канун Октября (II,4, XII). Однако неменьшим накалом ненависти к антинародным руководителям народных масс отличаются эпизоды, связанные с деятельностью Штокмана на Дону в 1919-м. И штокмановское правосудие, учиненное над казаками [расстрел наиболее почтенных, уважаемых стариков под видом расправы с кулачеством (III,6, XXII-XXIV)], и штокмановский прямолинейно-тупой подход к вышедшим из его управления солдатам (III,6, XL) утверждают идею автора о деятелях, которые «далеки от народа». И в утверждение объективности автора «Тихого Дона» той же мыслью проникнута яркая сцена столкновения Григория Мелехова с генералом Фицхелауровым (IV,7, X). Безобразный прием, который Фицхелауров оказывает одному из главарей Донского восстания, храбрейшему и популярнейшему на Дону Мелехову, опаснейшему с точки зрения большевиков (...он опаснее остальных, вместе взятых... утверждал Штокман, – III,6, XXII), блестяще выявляет безнадежность именно того дела, которое взял на себя генерал, неизбежность провала решающих операций Добровольческой армии.

Художественный образ трагической эпопеи «Тихий Дон» отнюдь не двухцветен. Борьба изображена в сложном сплетении характеров и движения событий. Этот сложный спектр – основная помеха для того, кто взялся «доработать» роман, выправляя его идейную суть. Прием выправления грубо примитивен; прежде всего сделана попытка разделить всех действующих на *белых* и *красных*, придав тем и другим подобающую одноцветность.

«Соавтор» пытается придать Листницкому и другим *белякам* черты, контрастирующие с сияющим обликом *красных* персонажей романа, тех, кого «соавтор», так сказать, дописал за автора (Штокман, Подтелков, Бунчук, Кошевой, Валет) и тех, кого сам сочинил (Абрамсон, Погудко и др.).

Белые по «соавтору» – черным-черны, а *красные* – светлым-светлы. Но в том и беда «соавтора», что контрастная двухцветность, наложенная поверх сложной живописи романа, оказывается противоречивой, а тем самым грубо-заметной.

БЛУКАНИЯ

Чтобы снять с романа «Тихий Дон» странный слой противоречивых утверждений, все то, что идет поверх поэтического «сцепления мыслей», определяющих произведение, – придется пойти по следам политических *блуканий* Григория Мелехова, по главной теме «соавтора-двойника», утверждающего неизменное тяготение и конечный переход его к большевикам.

Такой путь тем более для нас удобен, что тема *блукания* вплетена в хронику жизни героя войны и двух революций и в ту психологическую коллизию Мелехова, которая уже намечена в первых главах романа.

Еще в конце 1914-го раненный Григорий Мелехов, попав в Московский лазарет, в глазное отделение – прозревает не только с помощью медицины, вернувшей зрение его поврежденному глазу, но и под воздействием революционера Гаранжи, который объяснил Мелехову «что к чему». И сразу же *прахом задымилась все те устои*, с которыми до той поры жил казак.

Мелехову было доказано, что надо содействовать концу войны, а не обольщаться патриотическими идеями, так как война нужна лишь буржуазии, а не народу. Черниговский *коваль* (рабочий класс: не какой-нибудь землероб!) – Андрей Гаранжа всё рассказал Мелехову коротко и ясно, хотя и на

малопонятном казаку украинском языке: (*царь – пьянюга, царица курва, панским грошам от войны прибавка, а нам на шею... удавка... хвабрикант с барышом, а рабочий нагишом...*). И Мелехов всё сразу уразумел, несмотря на украинский язык. Впрочем Гаранжа в *редкие минуты, когда волновался, переходил на русский язык* (читатель пусть не удивляется: обычно люди, напротив, на родном языке говорят, когда разволнуются, но Гаранжа ведь не был человеком обыкновенным, таким, как все). *Служи, казак, служи!* подзадоривал хитрый Гаранжа: *...ще один хрэст заробишь, гарный, дубовый...* А ведь Григорий получил георгиевский крест за воинский подвиг. Нет, теперь уж он не будет таким дураком.

И так, – изо дня в день, Гаранжа *внедрял...* в ум Григория *досель неизвестные ему истины...* *едко высмеивал самодержавную власть,* и перед прозревшим Мелеховым явилась, по существу, вся программа большевиков, обеспечившая победу в Октябре. – *Трэба нэ лякаясь повернуть винтовки. Трэба у того загнать пулю, кто посилае людей у пэкло... Ты знай,* – говорил Гаранжа, – *поднимется велика хвыля, вона усэ снэсэ.*

Черниговский рабочий Гаранжа, как видно, уже в 1915-м знал ту литературу, которой руководствовался питерский слесарь Бунчук,¹ читал статью Ленина «Положение и задачи социалистического интернационала», обнародованную осенью 1914-го,²

1. См. выше, стр. 55.

2. «Социал-демократ» № 33, 1 ноября 1914. В.И. Ленин, Полн. собр. соч. изд. 4, т. 21, с. 22.

которую популярно перелагал для Мелехова. А потому и понятно, что были разрушены все прежние понятия Григория о царе, о родине, о казачьем долге. Недаром Григорий благодарил Гаранжу, говоря: – *Ну, хохол, спасибо, что глаза мне открыл. Теперь я зрячий и... злой.* И в доказательство последнего Григорий устроил в лазарете некую демонстрацию, нахамив великому князю, посетившему лазарет. Демонстрация, правда, получилась довольно-таки скудоумной и никак не вязалась ни с повадками казака, ни с его умом; однако, по мнению автора (?) (вернее: «соавтора-двойника»), она выразила революционный задор Мелехова (I,3,XXIII).

Казалось бы, последующие поступки Мелехова должны были исходить из «прозрения» в Москве под воздействием большевика Гаранжи.

Но... ничуть не бывало! Стоило Григорию приехать в родную станицу, в отпуск, как все его чувства и устои вернулись, и не только не подумал он, по советам Гаранжи, *побалакать* со своими казаками на политические темы, просветить их, темных, – но и сам вовсе выбросил из головы социал-демократические идеи, ему преподанные.

В романе, правда, объяснено это зловредным влиянием георгиевского креста, приколотого на полосатой ленточке к шинели Григория. На крест этот казаки смотрели, дескать, с *нескрываемым восхищением*. И весь этот сложный, *тонкий яд лести*, почтительности, восхищения постепенно губил, вытраивал из сознания семена той правды, которую посеял Гаранжа.

Но позвольте...: во-первых, в чем *тонкость лести*,

если попросту пьют на тебя глаза, снимают загодя шапки и т.д.? А во-вторых, где же *постепенность* в вытравливании *семян правды*? Ведь Григорий тут же из лазарета, получив отпуск, явился на Дон завзятым казаком: избил из ревности свою любовницу и ее ухажора и вернувшись в семью, к законной жене, – повел себя степенно, шагал в церковь, на плац, как и надлежит казаку с устоями, к полному удовольствию всех стариков (II,4,IV).

Казалось бы, сама жизнь подсовывала Григорию возможность выказать пробужденное в нем классовое сознание. Ведь мог Григорий отомстить господину Листницкому не как заурядному сопернику, но как врагу-эксплоататору. Ведь в ту пору, начиная с 1906-го, запросто горели дворянские усадьбы, немало было таких случаев по всей стране и без особого предлога. Немало случалось в ту пору и глухих расправ с барами-обидчиками. И чего только не могло взбрести в голову отчаянному в гневе Григорию? Но нет, отхлестал спроста и пустил барина восвояси – блуди, мол, и дальше.

Но в том-то и дело, что «соавтор-двойник» пытается обходиться зазвонном идейных фраз, пренебрегая идейной перестройкой сюжета и характеров, оставляя все это в совершенном согласии с начальным замыслом. А тому Григорию Мелехову, который задуман изначально, вовсе не к лицу проявления классовой ненависти. Классовое сознание у казаков издавно заменено было сознанием *иногородности*, особого казачьего патриотизма, который, разумеется, был делом времени.

Разматывая клубок жизни тогдашнего Григория,

мы узнаем, что в 1915-1917-м он, прошедший сквозь огонь и мучения войны, – оставался всё тем же верным своей донщине казаком, который *крепко берег... казачью честь*, ловя случай выказать беззаветную храбрость. Не только не передумал он, согласно рассуждениям Гаранжи, роль простого народа в войне, но еще больше раззадоривался героикою войны, рискуя поминутно *...ходил переодетым в тыл к австрийцам, снимал без крови заставы..., четыре георгиевских креста и четыре медали выслужил, стоял у полкового знамени, оваянного пороховым дымом многих войн*. Словом, действовал Григорий Мелехов совершенно вопреки тому, что советовал ему Гаранжа. И одна только тоска грызла его сердце – тоска по земле обдонской, по станице. – *Ты чего постный ныне?* – спросил Григория его тогдашний напарник и сосед по землянке, знаменитый своими жестокими подвигами казак Урюпин (Чубатый). – *Станицу во сне видел?* – *Угадал. Степь приснилась*, – сказал Григорий (II,4,IV).

Ко времени Февральской революции Григорий уже не был простым казаком – произведен был в офицерский чин, а после Октябрьской из взводных стал командиром сотни.

Заметим, что в беседе с сотником Извариным, однополчанином своим, Мелехов по чину своему мог не стесняясь вести себя как равный. И автор говорит о каких-то горячих спорах, которые между ними происходили поначалу. Однако возражения Мелехова нам не раскрыты, разве только в нескольких репликах: – *Как же мы без России будем жить, ежели у нас кроме пшеницы ничего нету?.. – А какая*

нам выгода отделяться (II,5,II). В этих сомнениях можно разглядеть и пророссийские настроения Мелехова, так сказать старорежимные, а можно, напротив, видеть и склонность к всероссийскому революционному объединению, какое намеревались осуществить большевики. Странно, что «соавтор-двойник», всячески направляющий Мелехова на путь политических осмыслений, не может найти слов, чтобы выразить эти осмысления сколь-нибудь вразумительно.

А между тем, читатель уже привык, что за словом в карман Мелехов не лезет, что слово его метко и своеобразно. Неизменно возвращаясь к Изварину и здесь, в частности, вдумываясь в то, *как* возражал ему Мелехов, мы должны, наконец, прямо сказать, что не верим, не можем поверить этим возражениям. Им нельзя поверить из-за фальшивой для Мелехова книжной политграмотности.

Вопросы Мелехова, по книжному «ловко» содержащие в себе и возражения-ответы, — никак не вытекают ни из его безыскусственно умной речевой повадки, ни из его слабограмотности, темноты, о которой не без навязчивости часто упоминает «двойник-соавтор».

Поставив в одну главу, объединив единством времени разговор Мелехова с Извариным и встречу с Подтелковым, «соавтор» как-то уж слишком примитивно выявляет неустойчивость Мелехова. Между тем флюгерство, способность тут же переметнуться из одной веры в другую как-то решительно не вяжутся с темпераментом и упрямой четкостью характера этого казака.

Создается впечатление, что «соавтор-двойник» как бы сам себя перебивает в этих характеристиках и изложении фактов, внося комментарии, к делу совсем не идущий.

Между тем, сущность опасений Мелехова лишь в неуверенности, что Дон может обойтись без российской поддержки (чья бы она ни была). Именно этими опасениями, а не флюгерством Мелехова объясняется то, что он принимает доводы Подтелкова. В намерении Подтелкова Мелехов видит ту же цель, что у Изварина, а в пути к этой цели – меньше опасности, риска для свободного Дона.

Явившись к вахмистру Дроздову сразу после разговора с Извариным, в раздумии над судьбами Дона Григорий встречается с Подтелковым, протестно-казацкое рассуждение, решительность и твердость которого сразу же его привлекают.

Мелехов начинает разговор, как бы резюмируя программу Изварина: *России-матушке мы теперь низко кланялись... Своя власть, не подходи! Будем жить, как в старину наши прадеды жили. Я думаю, революция нам на руку...*

Если мы хоть сколько-нибудь верим в только что преподнесенную нам интерпретацию возражений Мелехова – Изварину, то приходится слова эти, сказанные Подтелкову, понимать как иронию. Между тем они совсем не ироничны, и хотя здесь так же ясно, как в диалоге с Извариным, что Мелехов не свои слова говорит, что сам бы он ту же мысль выразил совсем иначе (как именно, мы можем судить по прямой речи Григория во

многих предшествующих главах) – тем не менее в словах этих содержится, так сказать, идейное credo Мелехова. Ведь надежда на грядущую независимость Дона и является единственным объяснением все дальнейших поступков Мелехова.

Подтелковские рассуждения не кажутся Мелехову чуждыми. Ведь Подтелков за народ, он лишь против власти атаманов, против того, чтобы перед *всяким их благородием тянуться*.

Как всегда меж казаками (и автор показывает это во множестве глав), разговор неизменно переходит к острейшей теме передела или раздачи земли на новых революционных началах, и Мелехов с Дроздовым оказываются единомышленниками в отношении к *мужикам*, которые лишь помеха в жизни казачьей.

Тут-то и оказывается, что и Подтелков (конечно, вопреки реальной программе коммунистов – почему и говорит *смущенно*), уверяет и себя и собеседников в том, что *землей тихий Дон не поступится*. – *Промеж себя, казаков, землю переделаем, помещицкую заберем, а мужикам давать нельзя*.³ *Единомыслие по части земельных дел* решает всё остальное, и Мелехов склоняется к помощи красным против белых. И опять же: здесь Мелехов чувствует в Подтелкове такое же отношение к барству, к прошлому, несомненно, что именно на ненависти к золотопогоннику, к барину и основался коммунизм Подтелкова.

3. Выше уже приводились эти слова Подтелкова но отметим и то обстоятельство «творческой истории» «Тихого Дона», что слова эти Шолохову накануне получения Сталинской премии пришлось из текста романа удалить.

И потому так быстро пересматривает Мелехов идею Изварина, предпочтя ей подтелковскую, что он еще издавна, еще с юношеской службы не терпит полицейского или солдафонского окрика и брезгливого высокомерия кадровых офицеров. Ненавистная *иногородность* давно отождествлялась в сознании Григория с русским офицерским барством, сделавшим мучительной тяготой воинскую службу – дело чести казака. Офицерским барством протравлена была жизнь в станице и в своих куренях, которыми распоряжались те же баре из русских и немецких фамилий, не имевшие корней в донском казачестве.

Другое дело, что слова Подтелкова и все его поведение далеки от той простецкой казачьей психологии, что эта психология (хоть она и наличествует где-то в сознании Подтелкова) припрятана до поры до времени, а здесь на этой психологии простого, наивного казака идет хитрая игра, в то время как все дела делаются под командой и с помощью Москвы.

Мысль эта гвоздила сознание всех *служивых*, недаром ее так определительно выразил и знакомец Мелехова подхорунжий Дроздов (у которого произошла встреча с Подтелковым). *Чтой-то за чёрт – ворчал Дроздов – наказные атаманы всё какие-то немцы: фон Таубе, да фон Граббе, да разные подобные. Земли все этим штаб-офицерам резали... теперь хучь вздохнем...*

Теперь, после революции, молодые казаки, видя этих бар, скопившихся вокруг Добровольческой армии, не имели особого желания поддерживать их,

представляя себе возвращение к прежнему в случае победы *белых*. Вот эта причина и руководила Мелеховым, когда оказался он одним из передовых в *красном* ревкомовском отряде.

Итак, на Дону – первый акт братоубийственной войны.

Григорий Мелехов принял отряд под командованием энергичного Голубова, войскового старшины из казаков, теперь собравшего воедино разрозненные казачьи отряды фронтовиков против наступающих белых, с которыми в пределах донских действует и Донская походная.

Следует отметить, что автор дает образ Голубова как положительное воплощение той революционной идеи, какую и видит в событиях.

Как всегда, Григорий оказывается на высотах военной сноровки и мужества. Благодаря ему остановлен рывок особого офицерского полка, который вел Чернецов, один из храбрейших офицеров Донской армии. Чернецов и сорок его офицеров взяты в плен, их должны препроводить в штаб. Голубов хочет взять Чернецова на поруки.

Но тут вмешивается предревкома Подтелков и начинает зверскую расправу с казачьими обезоруженными офицерами. Это убийство, которое Мелехов порывается прекратить, всё же происходит. На глазах у истекающего кровью раненного Григория изничтожены все пленные. Это зверство, к тому же свидетельствующее об отсутствии воинского права и чести, решительно отталкивает Григория от большевиков.

Рана, полученная Мелеховым под Глубокой, была

из тех, которые никогда не заживают. Не мог Григорий забыть ослепительную отвагу Чернецова. Не мог простить.

С этого момента начинается путь Мелехова – одного из главарей Верхне-Донского восстания, явственно четкий, несмотря на всю противоречивую сложность исторической обстановки.

Между тем, глава за главой, вопреки нагнетанию фактов, «соавтор-двойник» силится показать устремленность героя к большевикам. Так, в главе... съезжаются братья Мелеховы, чтобы поговорить о создавшемся положении без утайки, по-братски, как привыкли между собой беседовать: вспомним встречу (...). Однако диалог между ними волею «соавтора» происходит вялый и невнятный.

Поведение и слова Григория должны, по мнению «соавтора», свидетельствовать о непрерывности *блуканий* этого неустойчивого человека. *Боюсь, переметнешься ты к красным...* говорит Петро, уверяя брата, что он-то сам шататься не будет. На это Григорий почему-то роняет недоверчивое и злое: *хо?* – хотя брата своего знает хорошо и несомненно уверен, что ему-то социалистические мечты, которыми манят красные, – совсем ни к чему.

На упорно повторяемый вопрос Петра – *Ты скажи, я знать буду... скажи, Гришка, не переметнешься ты к ним?* – Григорий *вяло* отвечает – *навряд...* *Не знаю.* – Автор (?) настаивает на том, что Григорий отвечает *вяло*. Эта *вялость* должна как бы предупредить читателя о продолжающихся политических колебаниях героя, между тем как роман продолжает двигаться согласно подлинному автор-

скому сцеплению мыслей: с момента зверского расстрела пленных Григорий оказывается (и не неволей – охотой) сначала командиром станичного отряда, созданного для защиты хутора Татарского от набегов большевиков (весна 1918-го), а позднее, весной 1919-го – уже во главе одной из дивизий Повстанческой армии.

Итак, преследуя на северо-восток уходящие красногвардейские части, Григорий Мелехов движется со своими казаками по Усть-Хоперскому округу к станице Аржановской и является грозой для тех, в чьих семьях были ушедшие с красными. Характерен в этом смысле эпизод с казачкой, которая потому предлагает себя Григорию, что ей велел это сделать свекр. (...*Муж-то, Гврасим мой, с красными, – объясняет казачка*).

Двигаясь по следу героя, вверх по Хопру, мы оказываемся на северо-востоке, почти у границ Саратовской губернии, куда гонят отступающих большевиков донцы, в частности, сотник Григорий Мелехов. Здесь, недалеко от станицы Дурновской, отходя, разведывая и частично вновь наступая, красные обороняли свои отступавшие части. Мелкие и более крупные стычки с большевиками автор освещает не только по ходу отступа и обороны, но – изнутри, как нагнетающееся у станичников раздражение. (...*И помалу Григорий стал проникаться злобой к большевикам. Они вторглись в его жизнь врагами, отняли его от земли. Он видел: такое же чувство завладевает и остальными казаками... Каждый, глядя на неубранные валки пшеницы, на полеглий под копытами нескошенный хлеб, на пусты*

гумна, вспоминал свои десятины, над которыми хрипели в непосильной работе бабы, и черствел сердцем, зверел... III,6,IX).

Земля, сейчас праздная, к которой мысленно тянулись руки казаков-земледельцев – оставалась тем важнейшим и единственно существенным – за что сражались.

Гражданская война затягивалась, и праздная неухоженная земля вызывала тоску, озлобление и намечающееся объединение донцов с соседствующими земледельцами.

В тексте вслед за размышлениями Григория о *неубранных валках пшеницы* следует та мысль, что враги, т.е. солдаты Красной армии, все эти *тамбовские, рязанские, саратовские мужики – идут, движимые таким же ревнивым чувством к земле, каким движимы мы, казаки. Бьёмся за нее* (т.е. за землю), *будто за любушку*, – думает Григорий. Но как понять эту мысль, если именно вслед за ней неожиданно сообщается о том, что Григорий так озверел, что не хотел брать пленных, что участились случаи расправы с пленными.

Контекст этих противоречий туманен. Говорилось о том, что казаки тянутся к дому, к земледелию, к земле, лежащей втуне. И, казалось бы, здесь и могла возникнуть у Григория Мелехова естественная мысль о солидарности земледельцев, о том, что крестьяне русских губерний, соседствующих с Обдоном – одержимы той же мыслью о возвращении к труду на земле, мыслью о защите этой земли от разора. Общая для всех землеробов цель, казалось бы, должна была вызвать у казаков не

злобу, а напротив, внимание к сдающимся в плен, к перебегу из губерний, соседствующих с Областью Войска Донского.

И действительно, повстанческое движение по губерниям, соседним с Областью, было реальностью и объявлялось едва ли не главной причиной поражения красных на юге с весны 1918-го по конец 1919-го.

Именно в эту пору на воронежских, тамбовских, саратовских землях начали вспыхивать восстания против «продовольственной диктатуры», против конфискации «средств производства» у «кулаков», а так как термин «кулак» толковался советскими коммунистами весьма свободно, по мере надобности в продовольствии — протестовало крестьянство почти единодушно (т.е. все слои). Следовательно, не иначе, чем в сфере этих крестьянских волнений и предпринятого «крестового похода» против «кулаков», объявленного Лениным весной 1918-го⁴ и надо понимать внутренний монолог Мелехова о «любашке» — земле. По-видимому, весь абзац, начатый с отточия (*... и помалу Григорий стал проникаться злобой к большевикам... III,6,IX*), взят «соавтором-двойником» из какой-то отброшенной главы или фрагмента романа. Поэтому и не сходятся концы с концами.

Тем более догадка эта вероятна, что уже в следующей главе снова идет речь о *саратовцах и тамбовцах*, которые *сдавались тысячами* (III,6,X). В главе

4. В.И. Ленин. Соч., т. XXIII, стр. 49 (Речь на объединенном заседании ВЦИК и Моск. Совета).

этой говорится о перевесе... *на стороне казаков*, и перевес объяснен *морально шаткими частями из свежемобилизованных... преимущественно прифронтовой полосы* (там же).

Эти сведения, вкривь и вкось затесавшиеся в роман, далеко не нейтральны. Они сигнализируют о каких-то исчезнувших главах, которые изображали победный этап Донского восстания и перспективность борьбы за землю на Дону (по-видимому, веру создателя «Тихого Дона» во всероссийскую победу земледельцев).

Оставив столь далекие от коммунистической идеи «рожки» и «ножки» прежнего замысла, «соавтор – двойник» спешит показать, что правда коммунистов не перестает якобы тревожить Григория Мелехова. Так, вслед за фразой о том, что *саратовцы, тамбовцы сдавались тысячами*, на той же странице сообщается о том, что Григорий *с ненавистью* берет в руки номер газеты «Верхне-Донской край» и *скрипя зубами (!!)* читает казакам притворно-бодрые строки об *огромном количестве пленных*. Причем выясняется, что пленных на *Филоновском направлении* всего-то взяли казаки *тридцать два человека*.

Тут же, именно в дни массовой сдачи пленных, словом, в дни – явных преимуществ донских повстанцев над отступающими и лишь кое-где удерживающимися красными – Григорий вдруг начинает тосковать, впадает в пораженчество, стонет, что некуда податься решительно, якобы склоняется к большевикам и, наконец убедившись, что *стремительно разматывающуюся пружину отступления уже*

ничто не в силах остановить, – бросив своих казаков самовольно покидает полк. Покидает Григорий свою сотню, как хочет показать «соавтор – двойник», не в качестве шкурника, устремившегося к дому, но с высоким идейным решением, сам себе говоря: *Доживу дома, а там услышу, как будут они* (т.е. большевики) *идти мимо, и пристану к полку*.

Этот, прямо скажем, – низкий поступок офицера, бросающего своих солдат, читатель должен расценивать не в плане воинской этики, а – идеологически, в чем и состоит задача соавтора. Здесь неясность, не с одним Григорием связанная. Читателю неясно (и неясность эта, видимо, входит в намерение «соавтора-двойника»), почему большевики должны были *идти мимо* хутора Татарского или Вешенской. Ведь, значит, путь большевиков к южному фронту верхнедонцы преграждать уже прекратили, если Григорий направился к дому с такими мыслями?

Повидимому, «соавтору» хочется показать инициативу Григория Мелехова. Но что же дальше? *Пристал* он к красным, когда явилась эта возможность? Ничуть не бывало; остался дома, как говорится, на печке отсиживаться. Дело в том, что Григорий, как и все верхнедонцы, не пошел в отступ на юг под защиту и в пополнение Донской армии, а остался, надеясь, что большевики вмешиваться в станичную жизнь не станут, предоставив казакам заниматься своим хозяйством. Верхнедонцы наивно *пропускали* большевиков через земли свои, вовсе не думая перековываться на большевистский лад. Но из соответствующих глав (III,6,XIII-XVII)

«соавтор-двойник» пытается создать панораму иной окраски. Так, мы узнаем из этих глав и о том, с каким будто бы жадным интересом внемлет простой казак каждому коммунистическому слову и одновременно (из главы в главу) – о том, как неизменно держится казак своих привилегий и прав. Отдельные картинки и портреты, кое-как склеенные, никак в органику замысла не укладываются. Психологически невозможными представляются казусы вроде ответа командира Вешенского полка Фомина Верховному атаману Краснову. На приказ Краснова *стать с полком на позицию*, – по причинам невнятным для читателя Фомин остается ожидать *краснюков*, телеграфируя генералу Краснову: *Катись под такую мать*.

Не менее странным и психологически необъяснимым для отца и братьев Мелеховых является последний эпизод пятнадцатой главы (III,6,XV). Причина, по которой остались дома Григорий и Петр Мелеховы, когда надлежало им или идти в отступ или пристать к красным, рисуется жалкой, марающей ту *казачью честь*, которую так берегли братья. Пожалели баб, пожалели скот и домашнюю утварь, – это ли причина для молодых, сильных казаков, могущая заставить их, изменив казачеству – отсиживаться дома.

Однако «соавтор-двойник» без стеснения добивается своего: ему лишь важно показать кулацкую психологию семьи Мелеховых, – остальное неважно. И вот, чтобы и братья и отец выглядели посрамленными, «соавтор» особым контекстом приправляет еще и сцену со *стариковатым вахмистром*, героиней

чески волочащим к фронту свою батарею, *Жизни решуся, а батарею не брошу...* говорит казак, уговаривая Мелехова вытащить орудие, загрязшее на берегу Дона *по самые ося*. – *Аль вы не казаки?* – справедливо восклицает *стариковатый*, видя, что братьям неохота идти на помощь. Нехотя всё же пошли, а когда вытащили, вахмистр поклонился помогавшим и негромко сказал: – *Батарея, за мной!* И Григорий поглядел ему вслед *почтительно*, хотя и *с недоверчивым изумлением* (??), а Петро подошедши пожевал ус и словно отвечая на мысли Григория, сказал: – *Кабы все такие были! Вот как надо тихий Дон оборонять!*

А почему бы Петру и Григорию Мелеховым и не быть такими, не оборонять тихого Дона? Разве с той целью остались эти казаки дома, чтобы разрушить сложившееся было у читателя впечатление, что казачья честь братьям Мелеховым (каждому на свой лад) – дороже всего на свете... Если читатель не забыл характеров главных персонажей «Тихого Дона», какие изображены в первых двух книгах, – горько ему читать рассуждения доброго казака Христоня о вахмистре (...на что ему, дураку, эти пушки? как шkodливая свинья с колодкой...) Неужто и вправду богатырь Христоня мог испугаться плетки стариковатого вахмистра? и ради этого нехотя пойти ему на помощь? Христоне ли с его простодушной верой в справедливость и правду было смеяться над верностью этого казака?

И как, собственно, следует понимать улыбку братьев Мелеховых и других казаков, проводивших

боевитого старика? (...*Казачки разошлись, молча улыбаясь...*).

Молчаливая, кривая, виноватая и просящая улыбки, заполнившие пятнадцатую-шестнадцатую главы третьей книги – представляются улыбками по меньшей мере фальшивыми и принадлежащими не простодушным казакам, которых читатель успел полюбить, в которых успел поверить, но «соавтору», вздумавшему своих героев опорочить и представить ничтожно-жалкими.

Всё в этих главах до омерзения фальшиво: и угодливая услужливость Пантелея (всегда такого строгого и справедливого) и Ильиничны (всегда умеющей соблюсти свое достоинство), а тем более горячего и нетерпимого к малейшей обиде – Григория. С какой стати стелет он постель и улаживает мягкое изголовье своему обидчику красноармейцу Александру? С какой стати чувствует он себя *нашкодившей собакой перед хозяином*? И ему ли, свободному как ветер, своенравному вольному Григорию – *вместно про себя знать, что духом готов он на любое испытание, лишь бы сберечь свою и родимых жизнь?*.. И ему ли при этом бранчиво и мелочно задевать непрошенных гостей? А Петру ли останавливать брата, которого вчера еще подозревал в приверженности к *краснюкам*, а потом всю стараться отплясывать казачка перед красными комиссарами?

Противоречивые нелепости здесь на каждом шагу, и даже в пределах видимой читателю цели «соавтора» – преодолеть, направить в иную сторону изначальный замысел, – противоречия необъясни-

мые. Порой совершенно сбитый с толку и с ног, читатель уже теряет нить повествования.

Но... Такова сила подлинного авторского «сцепления мыслей» – нить находится, и герой продолжает свой путь.

Ах, подлюга, казака хотел голыми руками взять! – восклицает Григорий Мелехов, *перебросив издавна знакомым приемом* тяжелое тело того курчавого, который вздумал было расправиться с ним, с Григорием. Кинулся Григорий к Дону и был таков...

Т.е. – логика авторского повествования говорит, что – «был таков». Ведь не для того Мелехов в ночи бросился к *зимним скирдам* и даже *из опаски миновал их... как заяц... вязал петли следов* и ночевал в брошенной *копне сухого чекана*, чтобы на утро преспокойно вернуться в хутор.. И это после того, как за ним гнались, в него стреляли? Логика фактов дает нам четкий пунктир *меж копной сухого чекана и кизешником*, в котором застал Мелехова ранней весной радостный оклик хозяина того куреня на хуторе Рыбном, где скрывался беглец: – *Спишь? Вставай! Дон поломался! – И радостно засмеялся. – Что случилось? – Восстали еланские и вешенские...*) Пунктирная линия меж главами семнадцатой и двадцать восьмой (III,6,XVII-XXVIII), меж той зимней ночью и весенним утром, меж которыми прошло, видимо, изрядное количество денечков, приводит нас прямёхонько к началу Верхнедонского восстания. На этом пространстве времени фигуру Мелехова естественно видеть где-то в лесах и оврагах Обдонья, где в ту пору скрывались и готовились к боевым вылазкам казачьи партизанские

группы. Отсюда и попал он на хутор Рыбный. Но вопреки логике собственного повествования авторский «двойник» заставляет Григория *с копны* отправиться домой, чтобы послушно ехать с обозом, чтобы доставлять к Дону снаряды под конвоем красноармейцев (III,6,XXI). Затем, вернувшись, не иначе как по совету брата Петра (то-то был послушен и покорен семейным советам Григорий Мелехов!), посидевши на кухне, спокойно оседлав коня, наконец, отправиться в этот самый кизешник на хуторе Рыбном. И всего-то на двое суток, т.к. тут как раз и восстали верхнедонцы (!!).

Позавчера казаки хутора Татарского еще смиренно привечали *красных* и *гуляли* с ними по ночам, упиваясь самогоном и отплясывая казачка, а сегодня уже присоединились к повстанцам, взметнувшимся по всему Верхнедонскому округу.

Могло ли всё так мгновенно произойти? Исторические факты свидетельствуют о другом. Они говорят о том, что с апреля-мая 1918-го (расправа с Подтелковым) всё в северных округах войска Донского как бы застыло в ожидании, было оковано жутью красного террора, ошеломлено грабежом, учиняемым *красными*, и только стихийно возникшая и направляемая штабом Донской походной армии партизанщина нарушала эту зловещую тишину. Партизанские отряды, группы и даже отдельные казаки-разбойники являлись в лесной или болотной чаще, в глубинах оврагов, на одиноких зимовниках, чтобы затаясь в своем логове совершать набеги и расправы. Именно тогда, т.е. с весны 1918-го по весну 1919-го по всему занятому *красными* Дону

пошла полыхать партизанщина, а лишь в *провесень* 1919-го затем, естественно, поглощенная большим Верхнедонским восстанием, которое было подавлено только в конце 1919-го. Верхнедонская партизанщина той поры состояла не только из скрывающихся бунтарей окрестных станиц – она стала прибежищем всех, кто оказался в опасности, кого преследовали *красные*. Среди них были и старые и малые (огромное количество мальчишек, бывших кадетов и гимназистов и своеобразные вооруженные банды, скрытые лесными оврагами Верхнедонья). Какова была жизнь партизанских воинствующих отрядов, а также и жизнь тех, кто в глухую прятался, отсиживался в чаще, мы узнаем из замечательных страниц «Тихого Дона», удивительно каким-то чудом «заверставшихся» в самый конец романа (IV,8,X-XVI). Именно «заверставшимися», попавшими туда случайно, представляются эти эпизоды, дающие картину партизанской жизни в Обдонье весной – зимой 1918, в дни, когда там уже окончательно утвердилась советская власть. Те партизанские банды, которые блукали там по Области в 1920-м, уже не могли передвигаться столь смело и насакивать на красноармейцев столь боевито. И решительно нечего было делать Мелехову в разбойно-воровской банде Фомина.

Окрылившее Мелехова Верхнедонское восстание началось лишь ранней весной 1919-го. То, что по уходе (бегстве) Григория из Татарского еще не было ничего серьезно обещающего по части восстания, видно из его тогдашних предположений *махнуть через фронт к своим* (III,6,XVII).

Махнуть, надо думать, к «степнякам» донцам, туда, где была Походная Донская, где находился знакомец Мелехова – Изварин. Но судя по тому, что Верхнедонское восстание застаёт Григория притаившимся на хуторе Рыбном, – первоначальный план не осуществился. Вполне вероятным было то, что Мелехов присоединился к партизанскому отряду или группе, и конный, вооруженный скитался по лесам левобережья, участвуя в стычках с красноармейцами, которых теперь уже в полной мере воспринимал как *иногородних* врагов. Отдельные фрагменты, переплавленные соавтором для изображения «банды Фомина» (IV,8), несомненно относятся к партизанскому вылету Мелехова тогда, в 1918-1919-м, а отнюдь не в 1920-м году. Тем более, что партизанил он именно где-то в сфере хутора Рыбного, где затем таился в кизешнике [*...Выше хутора Рыбного банда переправилась через Дон...* (IV,8,XIII)].

Итак, поутру разбуженный в своем укрытии на хуторе, не дослушав старого казака, примчавшегося на хутор поднимать народ (...Что же вы стоите, сыны тихого Дона?! Отцов и дедов ваших расстреливают, имущество ваше забирают, над вашей верой смеются...), – кинулся Григорий Мелехов на баз, на рысях вывел застоявшегося коня и вылетел из ворот, как бешеный. (*...Пошел! Спаси Христос!* успел крикнуть он хозяину и падая на переднюю луку, весь клонясь к конской шее, поднял по улице белый смерчевый жгут снежной пыли... Он чувствовал такую лютую, огромную радость, такой прилив сил и решимости, что помимо воли его из горла реался повизги-

вающий, kloкочущий хрип. В нем освободились пленные, затаившиеся чувства. Ясен, казалось, был его путь отныне, как высветленный месяцем шлях...).

Путь был ясен и пройден был до конца.

Это был путь смелейшего из храбрых, кто возглавил Верхнедонское восстание, и его 1-ая дивизия в Повстанческой армии являлась едва ли не самой мощной, подвижной, оперативнейшей.

Историческая точность и достоверность, которой придерживается автор, не допускает его к смазыванию, поверхностному описательству в поведении его главного героя. Григория Мелехова, ставшего командиром Повстанческой дивизии, в каждом движении и распоряжениях можно проецировать на документальную хронику, и мы не найдем здесь отступлений от истины, но обстановка сложна, и читатель нелегко в ней разбирается. А тут еще на каждом шагу сложность усугублена тенденцией загадочного «соавтора» выправить идейную линию автора, доказать, что повстанческое движение на Дону было неорганичным для казачества, что восстанием была охвачена лишь небольшая часть станиц, и что повстанцы по внутренней своей склонности тяготели к красным.

Между тем «двойник – соавтор» не потрудился убрать те основные главы третьей и четвертой книг (а впрочем и неразделимые с ними главы книг первой и второй), которые изображают события и психологию казачества, определившие органичность восстания и попытки бороться с *иногородней* рукой большевиков путем партизанщины.

В результате почти во всех главах мы наталки-

ваемся на противоречия и несвязицу типа: «Баба ехала верхом в откидной карете, а за нею, во всю прыть, тихими шагами, волк старался переплыть бабу с пирогами». С такой, прямо скажем, классической несвязицы начинается третья книга. Первая глава открывалась следующей сентенцией. *В апреле 1918 года на Дону завершился великий раздел: казаки фронтовики северных округов – Хоперского, Усть-Медведицкого и частично Верхне-Донского – пошли с отступавшими частями красноармейцев: казаки низовских округов гнали их и теснили к границам области. Хоперцы ушли с красными почти поголовно. Усть-Медведицкие – наполовину, верхнедонцы – лишь в незначительном числе... Только в 1918 году история окончательно разделила верховцев с низовцами» III,6,1).*

Как связать столь авторитетно и назидательно заявленное с тем, что сказано в другом месте, очень неподалеку: *«Из-за Дона, с верховьев, со всех краев шли вести о широком разливе восстания»* – Так значит не низовцы, а верхнедонцы? – Может быть автор (?) оговорился? – Ничуть. Цитируем дальше: *Шумилинская, Казанская, Мигулинская, Мешковская, Вешенская, Еланская, Усть-Хоперская станицы восстали... явно клонились на сторону повстанцев Каринская, Боковская, Краснокутская. Восстание грозило перекинуться и в соседние Усть-Медведицкий и Хоперский округа. Уже начиналось брожение в Букановской, Слащевской и Федосеевской станицах.* (III,6,XXXII).

Как же так, ведь было сказано, что хоперцы ушли поголовно, – следовательно, вернулись и восстали? Что касается Верхнедонского округа (заметьте, читатель, *верхнедонского, а не нижнедон-*

ского, не низовского), то о нем еще и рассказано, что именно этот зловердный округ был главным в повстанческом движении (... *Восстание замкнулось в границах Верхне-Донского округа... III,6, XXXVIII*).⁵

Замкнулось... а ведь в начале этой главы наоборот сказано: «Полой водой взбугрилось и разлилось *восстание, затопило всё Обдонец, задонские степные края на четыреста верст в окружности (III,6,XXXVIII) ...Всёпожирающим палом взбушевало восстание... (III,6,XLIII)*»).

Затем уже и вовсе забыв, какими словами начиналась шестая часть романа, «соавтор-двойник» начинает седьмую часть так: – *Верхнедонское восстание позволило командованию Донской армии не только свободно произвести перегруппировку своих сил на фронте, прикрывавшем Новочеркасск, но и сосредоточить в районе Каменской и Усть-Белокалитвенской мощную ударную группу...*

Таким образом, в отмену (?) вышеприведенных утверждений выясняется не только верхнедонской характер восстания, но и его значительность, сила. Что касается *низовцев*, то выясняется, что кроме тех, кто служил в регулярной, Походной Донской армии, – остальные станичники далеко не все примкнули к восстанию и отсиживались по куреням, если приходилось их повстанческим дружинам продвигаться за пределы нижнедонских округов.

5. См. о партизанах и их действиях и ликвидации партизанщины в кн.: «Донские казаки в борьбе с большевиками». Воспоминания начальника штаба Донской армии и войскового штаба генерал-майора И.А. Полякова. Мюнхен, 1962, стр. 22.

Таким образом, поучающий тезис в начале третьей книги оказался неверным, и в пределах той же книги был тем же «двойником» автора опровергнут.

С достойным лучшего применения упорством «соавтор-двойник», невзирая на то, что Григорий Мелехов стал одним из вождей Повстанческого верхнедонского движения, продолжает развивать свою тему политических *блуканий* героя, ведущих его к коммунистам.

Вот садится Григорий Мелехов, командир Повстанческой дивизии, на коня и скачет в Усть-Медведицу, на доклад к генералу Донской армии Фицхеларову. С чем и зачем едет Мелехов? Генерал находится в самом центре событий, затормозивших задуманное наступление Донской армии. Он должен разгромить красные партизанские отряды, возглавленные бывшим подполковником царской армии, Усть-Медведицким казаком Филипом Мироновым, который сколотил изрядное войско из казаков в помощь большевикам.

Сам Мелехов только что прогремел блестящими победами и над регулярными большевистскими частями и над красными партизанами.

Так вот, скачет Мелехов в ту самую Усть-Медведицу, которая окружена мироновцами, совсем не для того, чтобы присоединиться к большевикам. Но по пути, волею «соавтора», Мелехов сообщает Копылову, начальнику штаба своей дивизии, о том, что *перейдет к красным* и уж тогда расправится с *приличными и образованными дармоедами*. Тогда, говорит Григорий *приличному и образованному* Копы-

лову: *Душу буду вынуть прямо с потрохом*. Это, конечно, милая шутка, как полагает «соавтор». Однако он упреждает читателя, что Мелехов говорит *полушутя-полусерьёзно*. А ведь в это время под Усть-Медведицей, куда направляется «шутник», гремит *частая ружейная перестрелка*, начинаются бои белых с красными, причем не с чужими, иногородними – со своими, с отрядами Усть-Медведицкого казака Филиппа Миронова. Направляется Мелехов к тому самому Фицхелаурову, который и руководит операцией и вскоре затем наголову разобьёт мироновцев. И, надо полагать, – с прямой или косвенной помощью Мелехова, который и прибывает к генералу для согласования действий его 1-й Повстанческой дивизии с той дивизией Донской армии, которой командует. Так не странно ли слышать под эту *ружейную перестрелку* о *переходе* Мелехова на сторону большевиков?

В объяснение соавторских странностей заметим всё же, что и здесь дым не без огня. Так же как в других местах романа, в данной главе очередной всплеск Мелеховского большевизма имеет в авторском тексте свое основание. «Соавтор» выводит его из душевного смятения, какое испытывает герой. Здесь, в данной главе, равно как в той, где речь идет о появлении Георгидзе, об его убийстве, о приезде в станицу Вешенскую генерала Секретова (III,7,VII) – смятение Мелехова, его резкость и раздражение со срывами (загулы, самоуправства, ведущие к развалу штаба Повстанческой армии) связаны с той политической неопределенностью положения (при сверхмерном напряжении сил),

какие были характерны для деникинского периода на Дону. Усугубилось взаимное недоверие между донцами и иногородней силой, ведущей гражданскую войну с красными. Антагонизм этот, определившийся еще весной 1918-го между походным атаманом П.Х.Поповым и Корниловым – теперь осложнился и усугубился непрременной необходимостью слитных действий. Между тем осложнилась и сама военная организация на Дону. Теперь походный атаман, утратив свою самостоятельность, был всецело подчинен Кругу Спасения Дона, а избранник Круга, верховный атаман Области Войска Донского, командовал всеми военными силами Дона, входя в то же время и в высший военный совет Добровольческой армии. Штаб Деникина – Главнокомандующего Добровольческой армии (в свою очередь связанный с управлением Верховного руководителя генерала Алексеева), штаб Верховного атамана Области и штаб атамана Походной Донской армии – находились в сложных взаимоотношениях, которые скорей можно было назвать рознью,⁶ чем объединением, хотя обстановка и требовала монолитности.

Рознь эта была основана на столкновении честолюбий (Деникин – Алексеев; Деникин – Краснов), со всеми интригами, сыском и подсиживаниями,

6. Верховный, генерал Алексеев, писал Деникину: «Должен откровенно сказать, что обостренность отношений между генералом Красновым (Верховный атаман Области Войска Донского - D*) и Командующим Добровольческой армии, достигшая крайних пределов и основанная менее на сути дела, чем на характере сношений, на тоне бумаг и телеграмм, парализует совершенно всякую работу». (Письмо от 9 июля 1918 года, Архив Русской Революции, VI, Берлин, 1922, стр. 84).

но в антогонизм этот входил политический разнобой ориентации. Белая армия раздиралась противоречиями меж теми, кто исповедывал веру в великодержавную монолитность, и теми, кто склонен был к решительному разделу бывшей Российской державы. Оголтелый монархизм, тенденции кадетские и народнически-эсеровские создавали разнобой, с проявлениями худшего, что коренилось в той или иной партийности.

Основным политическим фоном, на который проецируются события, изображенные в третьей книге романа «Тихий Дон», является борьба за автономию Области Войска Донского при готовности со стороны «вождей» к самой легкомысленной отдаче недр и ресурсов Германии. Меж тем, не менее легкомысленными были обещания, которыми заманивали и бывших союзников, англо-французскую коалицию, прося ее о помощи и допуская высокомерное соприсутствие западных представителей в штабах армий, разъезды по прифронтовым городам и станицам с высокомерным осмотром. Такова была обстановка, с которой связаны ситуации третьей книги романа и настроения героя.

Верхнедонская армия, которая и является тем самым героиней этой части эпопеи, – ходом событий была вынуждена к осени 1919-го (после того, как ей удалось прогнать большевиков и вынудить их к обходному проникновению на южный фронт) – влить весь состав в армию Донскую, реформировать свои дивизии. Процесс реформирования странным образом совмещался с боевыми вылазками и операциями подвижных, спаянных с местным

казачеством дивизий повстанцев. Казалось бы, в штабах должны были, цenia эту оперативность, подумать о форме сохранения Повстанческой армии, при необходимой координации ее действий с армией Донской. Вместо того – выказывалось нелепое высокомерие, оскорблявшее достоинство и честь казаков (сцены совещания и столкновения Мелехова с генералом Донской армии Фицхелауровым), и повстанцы, раскассированные по чужим полкам и потерявшие тем самым авторитетных для них офицеров, становились инертной, а порой и склонной к дезертирству массой. Мрачные настроения, которыми был охвачен Мелехов и его соратники, выказывались и в загуле, и в пьянстве, но сквозь них мы видим явственное намерение *автора* противопоставить разброду, царящему у белых – движение народное (восходящее к казачьим, народным восстаниям XVII и XVIII в.в.).

В романе это намерение означено лишь одним эпизодом. *Порубив* красных на Чиру под станицей Каргинской, Григорий Мелехов пытался *заглушить сознание, не думать о том, что творилось вокруг и чему он был видимым участником – начал пить... Рекой лился самогон...* На пятый день *беспрерывных гульбищ* поехали на хутор Лиховидов. *Григорию* *сопутствовали* *Рябчиков, Харламий Ермаков, безрукий Шамиль и приехавший со своего участка комдив Четвертной* (т.е. командующий 4-ой Повстанческой дивизией) *...Кондрат Медведев.* И тут во хмелю (как бывало у Пугачева) произошел многозначительный разговор между самыми храбрыми из повстанческих командиров. *Опять нами золотопогонники владеют!*

Забрали власть к рукам! – орал Ермаков... Какие погоны? – спрашивал Григорий, отстраняя руки Ермакова. – В Вешках. Что же, ты не знаешь, что ли? Кавказский князь сидит! Полковник... Зарублю! Мелехов! Жизнь свою положу к твоим ножкам, не дай нас в трату! Казаки волнуются... Давай биться и с красными и с кадетами... Мы хотим перетряхнуть власть (строго заговорил Медведев) ...Всех сменим и посадим тебя. Я гутарил с казаками, они согласны (III,6,XLI). Кровью спаянное товарищество боевых верхнедонских повстанцев, видимо, было наготове для того, чтобы отъединясь от белых армий и лишь защищая свои донские земли, избрать из среды своей казака-диктатора. Наивная идея в этом духе реально жила на Дону и даже поддерживалась местной революционной интеллигенцией, которая по мнению белых штабистов «путалась в ногах» объединенных армий, полагая возможным вооруженный народный нейтралитет между *красными и кадетами*, мирную защиту *любушки-земли*. Разумеется, «соавтор-двойник» не преминул встрять в эту наивную, но вполне органичную для авторского «сцепления мыслей» концепцию, вставив в означенный эпизод предложение Григория Мелехова *советской власти в ноги поклониться, дескать виноватые мы*. Эта фраза инкорпорирована в состав эпизода с обычным отсутствием логики, но все с тем же настойчивым намерением привести блуждающего Григория к коммунистической сознательности.

Хотя, судя по авторскому замыслу, в целом, и во многих частностях, о которых шла речь –

явствует, что Мелехов не мог прийти к коммунизму и к Советской власти ни в качестве убедившегося в правоте *красных*, ни в качестве пленника, которому ничего не остается, как сдать оружие. Как ни старается «соавтор» утвердить тот факт, что идейные *блукания* Мелехова (результат его несознательности и политической *косности*) ведут, и неизбежно окончательно приведут его к большевикам, – весь облик героя, как он задуман автором, всё, что совершает он на протяжении множества глав – противоречит утверждениям «соавтора». Несостоятельным оказывается и стремление «соавтора» показать такую приверженность Мелехова к семье, к детям, ради которой он готов на всё, и чему подчинена будто бы и его *казацья честь*. Всё это фальшиво по отношению к авторскому «сцеплению мыслей». Ведь читатель не может не понять, что судьба Мелехова решена еще тогда, когда уходит он из полка, где главенствует Подтелков. И окончательно решена, – когда принимает он дивизию Верхнедонской Повстанческой армии. Ход событий в повествовании, роль Мелехова – одного из вождей восстания – закономерно ведут этого героя к гибели вместе с его боевыми спутниками. Мелехов должен погибнуть во время последнего *отступа* казаков, где-то на пути к Новороссийску, или (невзирая на всё отвращение к *белым*) – погрузиться на судно, отплывающее к турецким берегам.

Судьба Григория Мелехова, равно как и его товарищей, явно завершена у 28-ой главы седьмой части третьей книги. Совершенно противоестественным для Мелехова было бы после всего им совер-

шенного, после того, как ему уже пришлось убедиться в том, что наказание будет беспощадным – вдруг сдаться на милость победителя. (Вспомним список *арестованных врагов советской власти*, который прочитал на майдане Штокман. Ведь там против имени Григория Мелехова значилось: *подъесаул, настроенный против*. Опасный. Такого добавления не было ни к одному имени из числа тех, кто, однако же, был расстрелян (III,6,XXIV). Вспомним и ярость Штокмана, когда сообщил ему Кошевой об исчезновении Григория (III,6,XXV). И после этого, явившись на свой хутор, Мелехов еще и тогда надеется уцелеть? Не должен уцелеть, как повествуется в романе, арест вот-вот должен совершиться. Но Григорий опять бежит с ловкостью какого-нибудь Фанфан-Тюльпана. Бежит, скрывается, становится одним из разбойников антисоветской банды Фомина (IV,8,XI-XVII) и... наконец, утомившись скитаниями и «символически» бросив оружие в Дон, является как миленький на хутор Татарский. Тут уместно спросить нам, читателям, стоило ли затевать такой серьезный труд, каким является историческая хроника «Тихий Дон», чтобы скатиться к такому слабенькому детективу? к такой мелодраме?

Ситуация финала, придуманная «соавтором», никак не вяжется со всеми предшествующими, и восьмая часть романа представляется насквозь фальшивой.

Всё то, что по духу своему и поэтике принадлежит в восьмой части к авторскому замыслу – введено в нее из состава фрагментов более ранних

глав, и место этим эпизодам легко можно найти согласно логике событий. Так, картины партизан, партизанщины упомянутых X-XVI глав восьмой части принадлежат не финалу, а должны были бы находиться где-то меж семнадцатой и двадцать восьмой главами третьей книги.

СОКИ ЗЕМЛИ

Сметливый казачина из станицы Алексеевской, лаконично докладывая Мелехову о том, зачем станичникам необходима *помочь* вешенских повстанцев, на вопрос, все ли алексеевские казаки *поднялись бы* против большевистской власти, — отвечает: *За всех как сказать?.. Ну, а хозяйственные казаки конечно поперли ба. — А бедные, не хозяйственные? — Григорий, до этого тщетно пытавшийся поймать глаза собеседника, встретил его по-детски изумленный, прямой взгляд. — Хм! — сказал алексеевский казак: Лодыри с какого же пятерика пойдут? Им самая жизнь с этой властью, вакан. Эта несложная мысль казака, — неглядя на то, что «соавтор-двойник» пытается «...»*

(Объяснительная записка исследователя)

Недостающая четвертая главка посвящена авторскому кредо, его идеям почвенности и народности, — предельно далеким от той идеологии, посредством которой «соавтор» пытается вытравить из романа идеализм и биологизм автора. Как и в предшествующих главках, развитие мысли пойдет на столкновении авторского и «соавторского» текстов.

«Структура и документация» — пятая главка данной главы, покажет авторский и соавторский

методы исторической документации, совершенно различные. Автор строит свой художественный образ на строго отобранных исторических материалах и в редких случаях (по необходимости, для действия романа) приводит документы гольём. «Соавтор» пытается самый ход романа, развитие художественного замысла подменить **сведениями**, которые и дает в непроверенном виде, выписками из документов и, как я только что выяснил, – прямыми извлечениями из мемуарных источников (у нас в стране недозволенных и потому находящихся вне поля зрения читателя).

ПОВЕРНУТ БОКОМ

...Время, какое проходит с начала до конца романа – коротко и громадно велико.

Здесь три эпохи, хотя всего-то какие-нибудь 7-8 лет, с 1910-го, одиннадцатого, или даже двенадцатого, до весны 1920-го.

Три эпохи, воссозданные автором «Тихого Дона» – неразделимо связаны изнутри, так, именно в первой, в тихом существовании Обдонья царского времени, по мнению автора, заложено горючее для последующих катастроф: военных и братоубийственных.

В колоритно пестрых, порой идиллических, но большею частью жестоких главах повествования – уже достаточно *бурьяно-копытного зла*, которому автор не видит искоренения иного, чем то, которое дает революция. И глава за главой автор ведет читателя по окровавленному течению *тихого Дона*.

Кстати сказать, вопрос о последних главах не решается, как видно, нумерацией книг и глав. Наблюдая ход повествования от главы к главе, нельзя не прийти к выводу, что сила этого движения ослабевает, сходя на нет, где-то около 28-й (XXVIII) главы – седьмой части четвертой книги романа, там, где рассказано о последнем *отступе* восставших казаков. Казалось бы, здесь и должны бы разрешиться судьбы героев эпопеи, как «Илиада» естественно завершается погребением Гектора.

Между тем, имеется еще 20 глав после двадцать восьмой до конца романа, из которых, впрочем, шесть цельных глав (XI-XVII) и куски остальных должны бы входить в состав предшествующих тем и эпизодов эпопеи (о чем уже говорилось выше).

Эта, так сказать, вторичная идея финала, уже не имеющая отношения к замыслу автора, посвящена тому, как ахейцы начинают преобразовывать Илион, и как послушно ведут себя бывшие герои.

Такое завершение эпопеи отнюдь не вытекает из образа *тихого Дона*, каким его создал автор. Не вытекает этот финал и из того «сцепления мыслей», каким хотел бы «соавтор» переосмыслить замысел. Не вытекает – по той причине, что у самого «соавтора» нет этого «сцепления», нет цельного художественного образа, а есть лишь голая политическая формула, из которой исходит он в своем переосмыслении.

В первых же попытках противостать автору – «соавтор», как мы видели, оказался захваченным стремением *тихого Дона* и стремя *понесло его, покачивая*, пока не *повернуло боком* (I,1,II).

ИЗ ГЛАВЫ ДЕТЕКТИВНОЙ

1.

.....

.....

.....

.....

В ПЕТЛЕ СОКРЫТИЯ

В детективных романах обычно повествуется о промахах преступника, скрывающего свою тайну, – о промахах, которые ведут к разоблачению. Промахи бывают большие и малые, но и ничтожнейшие отмечены на наблюдательной шкале детектива.

Опытный автор детективных романов, озабоченный длительной задержкой дыхания у читателя, – вводит в повествование и те петли сокрытия, которые, казалось бы, обеспечивают уход детектива в сторону от намеченного поиска, – его провал.

Тайна «Тихого Дона», – десятки лет была опутана петлями сокрытия, которыми распорядилась сама судьба.

Рассмотрим одну из этих петель.

В 1930-м, что называется, впритык – к появлению в печати первых двух книг «Тихого Дона»¹ вышел в свет сборник «Реквием» памяти Леонида Андреева.² Среди помещенных в этом сборнике писем Андреева к разным лицам – письма к закадычному другу его «Сергунчику», «Сержику», «Сергеичу», «Сергунюшке» – Сергею Сергеевичу Голоушеву.

1. В журнале «Октябрь» за 1928 год были опубликованы 1-2 книги, вышедшие затем отдельным изданием (ГИЗ, 1929).

2. «Федерация» М., 1930 (Под ред. Д.Л. Андреева и В.Е. Беклемишевой с предисловием В.И. Невского).

И вот одно из них, написанное в Петербурге
3 сентября 1917-го:

Неоцененный мой Сергунчик! Сегодня у меня скверный день: забраковал статью Гримма, да еще длинную, хотя вообще то, что он пишет, хорошо; забраковал статью Суходольского, начал браковать статью Гредускула, но приостановился – получался пустой номер. Забраковал фельетон Айзмана. В числе драки забраковал и твой³ «ТИХИЙ ДОН». И, согласно **твоему** желанию, велел Новику немедленно его отослать тебе. Миленький! Голубчик, не сердись на меня пожалуйста, я тебя люблю, как сорок тысяч любить не могут, и я же ценю тебя на самом деле, без комплиментов, но я не могу помириться в некоторых случаях с **твоею манерою** письма. «Тихий Дон» – это для нынешнего дня буря, шторм и светопреставление. Твой «Тихий Дон» это весьма спокойное описание в бытовых тонах и в стиле 80-х годов. Хорошо для журнала, легко и приятно читается в спокойные минуты, но совершенно не соответствует нынешнему стремительному газетному ритму.

Пойми, милачок, что Корнилов для нас, петроградцев, вчера только декретирующих республику, стоящих носом перед Швецией, большевиками, демократическими совещаниями – уже *вчерашний день*. Да, Каледин важен, и он еще не изжит, но поскольку он важен, постольку твои путевые и бытовые наброски не отвечают ни любопытству читателей, ни серьезным запросам о политическом настроении донцов.

Вообще, бытовые очерки в этом смысле вещь непригодная: они пухлявы вследствие бесконечных

3. Подчеркнуто здесь и в дальнейшем мною. D*

диалогов и малоубедительны по той же причине: случайный разговор с каким-нибудь пассажиром или прохожим служит выражением мнения целых городов и целых земель, и это неверно и, как всякое неверное обобщение, основанное на малом количестве данных – раздражает. Один пьяный казак сказал: «Долой Временное Правит(ельство)!», а другой пьяный казак сказал: «Долой Корнилова!» ну, какой можно сделать из этого вывод? Ведь это же *сырье*, все эти разговоры сырье, которое надо еще обработать. Надо *суммировать* впечатления и разговоры, надо повести через крит(ический) анализ и творческий синтез и уже в таком виде подавать. Будет коротко, сильно, ясно и выразительно. Тогда можно для оживления пейзажа ввести и коротенький диалог, но коротенький: одну, две особенно ярких и синтезирующих фразы: для нынешнего времени и газеты сам Глеб Успенский оказался бы неподходящим. Чувствуешь? Отдай «ТИХИЙ ДОН» кому хочешь. А мне пришли синтетическую полустатью – полуфельетон без всяких земств,⁴ а только с Калединым и Корниловым и с широким изложением, не разговорным, взбудораженного Дона.

Житков недурен, напечатан. Пусть присылает еще, но не слишком старается продергивать демократию, а ищет золотой середины. Гонорар – 25 к. – не мало?

Конечно, с Ходасевичем по телефону говорить я не стану. Ты Эдисон, ты любишь говорить по прямому проводу и посылать статьи с амуром, но я враг всех новейших изобретений. И раз Ходасевич колеблется, то и чёрт с ним.

4. Здесь в смысле: без народнических тенденций.

Занят я бешено, веду переговоры с Раецкими, пока не приду к соглашению, решительных шагов делать не буду к пополнению состава. Вот только *сделай*: узнай точнее, кто Юстинов, а удастся – и поговори с ним, побеседуй с И., сообщи, кто такой Сурьми, и убедительно поговори с Бальмонтом: позови его от меня в «Рус. Волю», чтобы он писал такие же статьи, как в «У(тро) Р(оссии)» и предложи хороший гонорар.

Нежно целую тебя и ужасно хочу видеть, просто вот как хочу. Анна родила девочку, назвали Устиньей. Остальное всё в том же духе. Миленкий, хочу видеть.

Твой Елпидон де Взбудорак

3 сентября 17 г.

Где же «петля» и о каком «сокрытии» может идти речь?

В письме Леонида Андреева присланное ему произведение – названо «Тихим Доном». При этом сказано, что там повествуется об отношении донского казачества к Временному правительству, к распоряжениям Верховного главнокомандующего Корнилова, что говорится там и о наказном атамане Области Войска Донского – Каледине. Так что же это? – неужто известные главы из романа Шолохова, посвященные послефевральским дням (II,4,XV-XVII)? – Быть не может; ведь Шолохову в сентябре 1917-го, когда Андреев получил рукопись «Тихого Дона», лишь исполнилось двенадцать лет. Помимо того, ведь Андреев говорит не о главах романа, а о «путевых, бытовых набросках», о «бытовых очерках»... И, наконец: – что же с того, что наброски

эти именуется «Тихий Дон»? Ведь *тихим Доном* названо Обдолье еще в старинных, исторических песнях, относимых чуть ли не к шестнадцатому веку. Словом, это не главы романа, а злободневные очерки, написанные неизвестным и к огорчению Шолохова⁵ названные – «Тихий Дон».

Но позвольте, почему же «написанное неизвестным»? Ведь из текста письма к этому Сергунчику, т.е. Сергею Сергеевичу Голоушеву явствует, что «Тихий Дон» написал именно он. Разве явствует? – А как же? – Андреев пишет Голоушеву: «**твой**⁶ путевые и бытовые наброски», «**твой** 'Тихий Дон'». Уж от местоимений никуда не уйдешь, кажется, а потому никто еще не сомневался в принадлежности Голоушеву *того* «Тихого Дона», сочиненного в 1917-м.

И Шолохов в апреле 1930-го, вскоре по выходе «Реквиема» писал Серафимовичу: «...ходят слухи о том, что я украл «Тихий Дон» у критика Голоушева – друга Л. Андреева... «Тихим Доном» Голоушев – на мое горе и беду – назвал свои бытовые и путевые очерки, где основное внимание (судя по письму) уделено политическим настроениям донцов в 17-м году. Это и дало повод моим многочисленным «друзьям» поднять против меня кампанию клеветы. Третью книгу моего «Тихого Дона» не печатают.⁷

5. См. ниже письмо Шолохова к А.А. Серафимовичу.

6. Подчеркнуто мною. D*

7. Первые двенадцать глав третьей книги «Тихого Дона» Шолохов напечатал в журнале «Октябрь» 1929 г. Главы 13-65 (XIII-LXV) в 1932-м году.

Это дает им повод говорить: «Вот, мол, пока кормился Голоушевым, а потом иссяк родник...»⁸

Итак, если сам Шолохов не сомневался в Голоушеве, а главное если сам Серафимович не сомневался, – так уж можно ли усумниться?

А может быть, давно следовало!? И Серафимовичу ли, например, было не знать, кому принадлежали очерки «Тихий Дон» 1917-го? Однако, маститый литератор не только не открыл таинственного автора, но оберегая Шолохова – больше всех заботился о «петлях сокрытия», и в голоушевском «Тихом Доне» несомненно усмотрел «петлю» наихитрейшую, самой судьбой закинутую.

Позволив себе выразить сомнение в Голоушеве, я начну свои скептические раздумия ab ovo т.е. с самого факта присылки Андрееву рукописи о настроениях донцов.

Пересылка Андрееву чужих рукописей – являлась для Голоушева чем-то вроде взятого на себя обязательства. С первых строк письма о «Тихом Доне» видно, что Голоушев вообще в курсе редакционных дел Андреева по его газете «Русская воля» (организована летом 1916, выходила по октябрь 1917-го), знает, что находится в редакционном портфеле и содействует его наполнению, как старый опытный журналист с большими литературными связями в Москве.⁹ В какой степени Голоушев в

8. Цитируется здесь по книге: Абрамов Ф.А., Гура В.В. М. Шолохов. Семинарий. Учпедгиз, 1958.

9. Сергей Сергеевич Голоушев (Сергей Глаголь), друг Андреева еще с 1900 года, коренной москвич («слишком москвич»), врач, художник и журналист, известный своими критическими статьями об изобрази-

курсе дел Андреева, видно по замечаниям о его расправе («драки») с некоторыми предназначенными в газету сочинениями и по поручениям, которые дает в этом же письме Андреев Голоушеву. Именно на него, москвича, возлагается надежда по привлечению Бальмонта, Ходасевича. Слова: «предложи хороший гонорар» показывают, что полномочия Голоушева по газете весьма широки. «Поддержи же меня, Сережа. Почему никаких вестей о приглашенных литераторах, падающих в наши объятия? Спешу. Сейчас, в сущности, в этом всё дело. Обольщай всеми средствами... Действуй гипнозом!» Так пишет Андреев Голоушеву 4 февраля 1917-го.¹⁰

Так не явились ли и очерки «Тихий Дон» – результатом «обольщений», причем, по мнению Голоушева, это было произведение высокого литературного достоинства и большой актуальности (что и оспаривал Андреев). Оспаривается впрочем не тема, она желательна для газеты, но стиль, манера автора, а также тот дух народничества, который Андреев называет «земствами» («...без всяких земств») и который ему глубоко чужд. Андреев не

тельном искусстве и театре. Постоянный сотрудник многих газет и журналов. Глаголь в начале 1900-х гг. объединялся с Андреевым, и они подписывали свои очерки объединенной подписью: «Джемс Линч и Сергей Глаголь». («Под впечатлением Художественного театра» М., 1902 и др.). Будучи единомышленниками в области искусства в начале века, когда Леонид Андреев еще был близок телешевским «Средам» (кружок, куда входили: Н.Д. Телешев, С. Глаголь, М. Горький, В. Вересаев, И. Бунин, Б. Зайцев, А. Серафимович и др. писатели-реалисты) – уже к началу 1910-х годов – друзья разошлись по целому ряду коренных вопросов искусства и литературы.

10. Реквием М., 1930, стр. 134.

только говорит о тех особенностях «Тихого Дона», которые противостоят его собственному литературному направлению (согласно которому он и старается подобрать материалы для своей газеты), но и суммирует свои требования (...А мне пришли **синтетическую** полустатью-полуфельетон без всяких земств, а только с Калединым и Корниловым и **с широким изложением**, не разговорным, взбудораженного Дона...). Ему нужен художественный образ взволнованности тихого Дона, однако заключенный в форму лапидарную, являющуюся уже результатом, синтезом живых наблюдений. Таков — заказ. И разумеется не так, и не теми словами выразил бы эти требования художник, непосредственно обратившийся к собрату. Здесь не «напиши мне» (т.е. для моей газеты), а «мне пришли». Ясно, что Голоушев должен передать заказ или тому автору, которому принадлежат присланные очерки, или найти другого, кто напишет на данную тему.

Мог ли, хоть по каким-нибудь объективным данным, быть живописателем и наблюдателем *взбудораженного Дона* сам Голоушев? Показатели только отрицательные.

И.Д. Телешов пишет: «Художественная Москва хорошо знала Голоушева по его рецензиям, а театральная молодежь увлекалась его лекциями... Капитальным трудом его был «лист» к большому иллюстрированному изданию 1909 года «Художественная галерея Третьяковых»... Большой известностью пользовалась также его монография «И.И. Левитан, его жизнь и творчество» и «Очерки по истории искусства в России», а также такие его

сочинения, как «Судьба Третьяковской галереи» (1916), «Под впечатлением Художественного театра» (1902) и множество критических статей об актерах, постановках и пьесах, преимущественно связанных с художественной Москвой. Для Голоушева, художественного и театрального критика, характерен именно московский круг, московские связи (...ваша Москва ... ты слишком москвич... пишет ему Андреев):¹¹ Именно московских литераторов поручает Голоушеву привлекать к его петербургской газете Леонид Андреев, а донская тема и привлечение писателя, знающего Дон, возникает лишь потому, что события выдвигают эту тему как одну из главных. (...Каледин важен...). Голоушев шлет «Тихий Дон» Андрееву именно потому, что тема в данное время является всероссийской, отнюдь не краеведческой. Сам же Голоушев с Доном вовсе не связан, и единственным связующим с Доном звеном в московском кругу литераторов является в то время и для Голоушева, и для самого Андреева – А.А. Серафимович (А. Попов), уроженец и постоянный житель Новочеркасска.

Именно Серафимович, хорошо знакомый с Голоушевым и Андреевым, как член литературного объединения «Среды», привлекал в свое время их внимание и интерес к Обдону. Так, Андреев писал Голоушеву в 1915-м: «На Дон меня звал С(ерафимович)... и я с горя чуть не согласился. Но теперь я его вышвырну к чёртовой матери»¹² Замечание

11. Реквием. М., 1930, стр. 118.

12. «Реквием» М., 1930, стр. 113. Возможно, что речь шла не о данном годе, а о прежних приглашениях Серафимовича. Так в одном из

это связано с тем, что Голоушев предлагал Андрееву совместную летнюю поездку по России, и разработав несколько маршрутов, прислал их Андрееву. В числе этих маршрутов была и поездка на Дон. «Россия интереснее донской экзотики с сусликами и чахоточными верблюдами» пишет Андреев, заключая... «Твое (т.е. Голоушева) вдохновенное предложение прокатиться по шлюзам – как бочка масла, вылитая на волны моей души... предчувствую я тишину рек, и красоту, и покой...».

Вряд ли сам Голоушев осуществил отмененный Андреевым проект поездки для обозрения «донской экзотики». Однако, даже если и покидал когда-нибудь Голоушев свои Хамовники ради тихого Дона, то могло это быть лишь эпизодом в его жизни – не более того. Не только донских очерков Голоушев явно не писал и не мог написать, но и каких-либо других, хотя бы «российских», «московских». В печати известны его наблюдения природы и быта – лишь сквозь характеристику живописи русских художников. Лишь в 1900 году Голоушев (Глаголь) разразился чем-то вроде путевых очерков, но и они тоже, в основном, были посвящены искусству. (...«Из летней поездки в Константинополь, Афины, Неаполь и Венецию» М., 1900). Что касается политических фельетонов, то их Глаголь по-видимому никогда и не пробовал писать. (Во всяком случае, в печати ни один не появился).

писем к Ф. Д. Крюкову Серафимович еще в августе 1912 года писал, что приглашает его и Леонида Андреева ехать к нему в станицу Краснокутскую (Усть-Медведицкого округа Области Войска Донского).

Теперь о пересылке «Тихого Дона» Андрееву для его газеты.

Весьма возможно, что это был прямой заказ Андреева в связи с событиями, тем более, что в августе-сентябре 1917-го в газетах печатались статьи, связанные с избранием Каледина атаманом Войска Донского и его мятежными (в отношении Временного правительства) выступлениями в Новочеркасске (газета «Утро России» и др.). По всей вероятности, поставщиком материалов о Донщине в Москве (если иметь в виду литературный круг Голоушева) был – Серафимович. Серафимович жил то в Москве, то в Новочеркасске или в Усть-Медведицком округе (на своей родине, в станице Краснокутской). После Февральской революции Серафимович более или менее осел в Москве, что не мешало ему душой принадлежать Дону и держать крепкую связь со своими земляками. Собираясь примкнуть к организуемому в то время журналу¹³ Серафимович не мог не быть в курсе донских литературных начинаний. Разумеется, он был хорошо знаком с теми из донцов, кто уже вошел в литературу и печатался в московских и петербургских журналах. Кто-то из таких литераторов и написал в 1917-м очерки «Тихий Дон» и передал их в Москве Голоушеву непосредственно или, вероятнее всего, – через Серафимовича. Так или иначе, Серафимович был «звеньевым» в доставке «Тихого Дона» в газету «Русская воля» в сентябре 1917-го.

13. По-видимому – к журналу «Донская волна» 1913-1919.

Имя автора очерков, по-видимому, не было названо Андрееву, и Голоушев лишь сопроводил посланное – лестной характеристикой и (судя по ответу) ссылкой на то, что автор является опытным литератором, сотрудником толстых журналов, знатоком казаческого быта и настроений, а, в данном случае, актуальнейшим комментатором политической корниловско-калединской ситуации. Из абзаца: *Твой «Тихий Дон»* и т.д. – видно, что Андреев отвечает на лестную для автора очерков характеристику Голоушева. Затем, в следующем абзаце, Андреев вообще отваживает Голоушева от жанра бытовых очерков, *непригодных* для газеты и увлекшись отрицательной характеристикой жанра *бытовых очерков*, высказывает свое суждение о том, что есть литература, а что *сырье* (...Надо суммировать впечатление... надо провести через крит(ический) анализ и синтез...).

В конце еще раз, в уважение голоушевской хвалебной рекомендации, – прибавляет, что *«для нынешнего времени и газеты сам Глеб Успенский оказался бы неподходящим»*.

Здесь уместно прибавить, что взгляды на литературу (да и на искусство) у Андреева и Голоушева в конце 1910-х годов были разные по существу. Продолжая любить друг друга, – приятели уже в начале 1910-х годов начали расходиться в понимании фактов поэзии, театра, критики. *Я думаю, что ты думаешь не то, что я думаю*, писал Андреев Голоушеву еще в 1915-м году¹⁴ по поводу его

14. «Реквием» М., 1930, стр. 112.

мнения о Художественном театре, хотя когда-то они в этом были настолько единомышленниками, что написали совместный очерк (1902).

Шутливо (но отчасти и всерьез) Андреев именует Голоушева *ветхим человеком*.¹⁵ По поводу своей трагедии «Самсон в оковах» Андреев пишет Голоушеву, что жалеет о невозможности сейчас же, *с бау прочесть ее ему и наверняка... это печально... это больно!.. поспорить с ним. А может и нет?*¹⁶

Тот факт, что Андреев восходит к авторитету Глеба Успенского, хоть и шутка, однако свидетельствующая о литературных пристрастиях Голоушева, объясняющих огорчительную для Андреева склонность *Сергунчика* к таким произведениям, каков «Тихий Дон».

Но забрав присланные для газеты очерки – Андреев, вероятно, так и не получил необходимого ему *полустатьи-полуфельетона*, – по той, вероятно, причине, что те писатели, которым было что написать о *взбудораженном Доне* и Каледине – не принадлежали к направлению автора «Красного смеха» и писали иначе, чем он бы хотел. Впрочем, в октябре 1917-го газета «Русская воля» прекратила свое существование.

Таковы данные, опровергающие авторство Голоушева по сути литературных возможностей и объясняющие самый факт присылки «Тихого Дона».

Несколько слов еще и о тоне письма Андреева, так как именно тон и виновен в наведении «тени

15. Там же, стр. 106.

16. Там же, стр. 100.

на плетень», в утверждении ошибочного мнения о Голоушеве как авторе «Тихого Дона».

Тон письма шутивно-интимный, хотя речь идет о делах серьезных, о поручениях, важных для Андреева. Так пишут только очень близким людям, которые и которых понимают с полуслова. Если мы просмотрим весь эпистолярный контекст обращений к Голоушеву, то шутивный их тон, легко соединявшийся с серьезными вопросами, окажется характерно-постоянным. Так 14 июля 1915-го Андреев пишет Голоушеву: «Крепко я люблю тебя, весь словно обвеян тобою и вместо деловых эстафет первую эту галиматью пишу тебе просто поболтать с тобою...» Подписано письмо: «Твой незаконный сын...»¹⁷ И вряд ли хоть один читатель примет здесь местоимение *твой* – за верное свидетельство того факта, что Голоушев был отцом Андреева.

Все 33 письма и в их числе последнее, – от 3 сентября 1917-го обращены не к Сергею Сергеевичу и даже не к Сергею или к Сереже, а – к «Сержику», «Сергеичу», «Серóже» или к «Чёртову дяде», «Суламифи» и т.п. Все 33 – подписаны шутивными подписями, вроде: «Мафусаил», «Чванг-Чванг», «Поп Семен», «Леонида Дохлятина» или «Канон Измочаленный». Как мы видим, и для последнего делового письма не сделано исключения: («*Твой Елпидон де Взбудорак*»). Мало того, в последнем письме, в последних его строках как бы нарочно отмечена и заявлена шутейность тона. Андреев

17. «Реквием» М., 1930, стр. 117.

пишет: «Анна родила девочку, назвали Устиньей. Остальное всё в том же духе».

Именно *в том же духе*, как и сообщение о никогда не рождавшейся у Андреева дочери Устинье. Дух – смешливый, иронический: – отсюда и «*твои бытовые очерки*», никогда не рождавшиеся у Сергея Глаголя, хотя он и уважал этот жанр и даже возымел к нему пристрастие, над чем и подшучивает Леонид Андреев, именуя «Тихий Дон» – его, Голоушева, очерками, а стиль этих очерков – его, Голоушева, *манерою письма*.

Примечание публикатора.

В главке «Петля сокрытия» Д* не успел закончить свою мысль: те главы из «Тихого Дона», которые Голоушев предлагал Андрееву для «Русской воли», и были главами из уже писавшегося тогда романа Федора Крюкова. Эти главы Голоушев мог, в частности, получить через Серафимовича, с которым был в дружеских отношениях.

3.



ПРИЛОЖЕНИЯ

ИЗ СОХРАНИВШИХСЯ ТЕЗИСОВ Д*, ЧАСТИЧНО ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ, ЧАСТИЧНО НЕТ

- Ординарности Николаевской формации решили судьбу России. (Дать концовку, где будет ясна мысль об антинародности, **отъединении** от масс, как главном свойстве).
- Историческая концепция автора и двойниковые (соавтора) вмешательства, создавшие хаос композиционный.
- Народ - единственная сила, в которую верит автор. Наивность народнической идеи (главка приватного совещания, где Мелехова хотят сделать Пугачевым).

- Соки земли – единственная сила для его героя. Он герой, надежда края.
- Развитие идеи автора таково (см. «иногородние» и «блукания»), что **финала** отдачи казака Мелехова на милость победителя быть не могло.
- Тома 3-4 – Рвань, наброски, по которым **кто-то грамотный** сделал связный текст. (? Здесь работа и **Серафимовича**).
- Тучи над Ш. и мощная защита Серафимовича. И **что** в основе его желания во что бы то ни стало покровительствовать Ш.? Не казачий ли дух и понимание, что автор повернул «соавтора» *бокком*, невзирая на все ухищрения, в которых, **вероятно, Серафимович помог Ш.** советами. В сущности, это единственная вещь в советской литературе, где правда всё же торжествует над кривдой (по абсолютной бездарности соавтора, он этого не смог прикрыть).
- В главе «Поэтика» указывается принадлежность романа к литературе **1910-х годов**.
- **Дуняшка.** Нежно любимая сестра Крюкова (глухонемая).
- Архивные материалы и сочинения Крюкова дали много веских доказательств моих мыслей, основанных **лишь на анализе текста романа.**

- Предполагаю, что для Крюкова характерен метод работы не романиста, а очеркиста. Всё рождается из дневниковых записей. Вся военная часть романа (с начала войны по февральскую революцию) вышла из «Путевых заметок» его и «Фронтowych очерков». Часть напечатано, часть нет. Это и определило характер исторической хроники ТД.

- Загадки текста. (Тифозные главы). Откуда материалы по главам 6-й части III и XXVIII (XXVII-я является финальной для автора. Она как бы собирает его угасающее сознание) и до конца книги? Много в этих главах (описательная часть, характеристики и т.п.) вполне могло быть создано, но некоторые **по времени** нет. Такова глава эвакуации в Новороссийске (впрочем, материалы к ней могли поступать к К. раньше, при возврате казаков, п.ч. эвакуация началась еще очень раньше).

Однако, не связаны ли некоторые материалы с провожавшими Крюкова? Священник Шкуратов и его сын. Ш. ведь как-то приобрел архив в этом гнезде (*сундучок* и проч). Молодой Шкуратов (П.И.) – писатель, долгий житель ГУЛага, а не мог ли кое-что и сам записать? Ведь и ему тогда (в 1920-м) могло быть около 20 лет.

О П.И. Шкуратове, авторе «Павла Курбатова»

ИЗ ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ О ШОЛОХОВЕ

(«На подъеме», 1930, № 6, стр 171)

Все читатели, хваля книгу, указывают как общий недостаток – «бесклассовый подход» автора, объективизм (откуда бы?..). Отвечая выступавшим, М. Шолохов признал, что на нем **как на авторе** (не как на гражданине!) «сказывается влияние мелкобуржуазной среды», «пытаюсь бороться со стихией национализма, которая у меня проскальзывает» (после продотряда?!)

(«Жизнь искусства», 1928, № 51, статья И. Оксёнова)

«Автор не смог подчинить материал своему мировоззрению, на «Тихом Доне» лежит отпечаток «областничества» (т.е. донского сепаратизма).

Незнамов М. Беседа с писателем. «Большевистская смена», Ростов-на-Дону, 1940, 24 мая

– Какое место занимает в вашей работе записная книжка?

– По сути у меня нет такой в буквальном смысле слова... Если записываю, то очень редко. Запишешь какой-нибудь удачный образ или сравнение, а остальное как-то держишь в голове.

Абрамов Ф.А., Гура В.В. – М. Шолохов. Семинарий.
Учпедгиз, 1958

Из письма Шолохова Фадееву от 3 октября 1929 г.
«...Тебе известна статья Прокофьева в «Большевицкой смене», по поводу этой статьи я и нахожусь сейчас в Ростове... Я приехал, чтобы через отдел печати Крайкома и СКАПП (Северо-Кавказская Ассоциация Пролетарских Писателей) вызвать комиссию для расследования этих «фактов», и глубочайше убежден, что это расследование переломает Прокофьеву ноги. Прокофьев, будучи в Вешенской, наслушался сплетен, искажил их... После окончания этой муры я подаю в вешенскую ячейку заявление о вступлении в партию».

Газета «Вечерний Ростов» от 23 окт. 1962 г.
«Вешенские встречи»

Некий К. Прийма задал Шолохову вопрос: Откуда он взял **фактуру, все тонкости того, как шли переговоры** между Калединым и Подтелковым?

Ответ: «Всё, что касается исторических событий в романе «Тихий Дон», конечно, представляет собой художественное обобщение, но основа всюду **глубоко документирована**».

«И вот Михаил А. берет в руки заверенные Ростовским партархивом страницы «Воспоминаний» Як. Н. Лагутина (члена подтелковской делегации), перелистывает их, затем задумчиво говорит:

– Да, не исключено, что эти воспоминания были у меня в руках. – Глубокие морщины избородили высокий загорелый лоб Шолохова. – *Когда я писал Т.Д., я располагал множеством исторических документов.* Мне сейчас трудно вспомнить, чем я пользовался, работая над этой книгой. К сожалению, весь мой архив сгорел во время войны...

(Прийма рассказывает Ш-ву, который именно Лагутин участвовал в переговорах).

– Откуда это известно? – спросил Ш.

– А об этом писали белогвардейские газеты в январе 1918 г., например «Приазовский край».

– Любопытно, – задумчиво сказал Шолохов. – Это весомое доказательство.

(характерна пустопорожность ответов!)

(«Правда», 29 марта 1929 г., № 72).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В связи с тем заслуженным успехом, который получил роман пролетарского писателя Шолохова «Тихий Дон», врагами пролетарской диктатуры распространяется злостная клевета о том, что роман Шолохова является якобы плагиатом с чужой рукописи, что материалы об этом имеются якобы в ЦК ВКП(б) или в прокуратуре (называются также редакции газет и журналов).

Мелкая клевета эта сама по себе не нуждается в опровержении. Всякий, даже не искушенный в литературе читатель, знающий изданные ранее произведения Шолохова, может без труда заметить общие для тех его ранних произведений и для «Тихого Дона» стилистические особенности, манеру письма, подход к изображению людей.

Пролетарские писатели, работающие не один год с товарищем Шолоховым, знают весь его творческий путь, его работу в течение нескольких лет над «Тихим Доном», материалы, которые он собирал и изучал, работая над романом, черновики его рукописей.

Никаких материалов, порочащих товарища Шолохова, нет и не может быть в указанных выше учреждениях. Их не может быть и ни в каких других учреждениях, потому что материалов таких не существует в природе.

Однако мы считаем необходимым выступить с настоящим письмом, поскольку сплетни, аналогичные этой, приобретают систематический характер, сопровождая выдвижение почти каждого нового талантливого пролетарского писателя.

Обывательская клевета, сплетня являются старым и испытанным средством борьбы наших классовых противников. Видно, пролетарская литература стала **силой**, видно, пролетарская литература стала действенным оружием в руках рабочего класса, если враги принуждены бороться с ней при помощи злобной и мелкой клеветы.

Чтобы неповадно было клеветникам и сплетникам, мы просим литературную и советскую общественность помочь нам в выявлении «конкретных носителей зла» для привлечения их к судебной ответственности.

По поручению секретариата Российской ассоциации пролетарских писателей:

А. Серафимович

Л. Авербах

В. Киршон

А. Фадеев

В. Ставский

«Молот» 13 августа 1965 г.
(Ростов)

На литературные темы

ОБ ОДНОМ НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТОМ ИМЕНИ

Случилось это в тот далёкий, но памятный год, когда разбитые Красной Армией белоказачьи отряды покидали родные места, отправляясь на чужбину. Горькая судьба ждала их в далёких краях, и в долгие бессонные ночи не раз ещё должны были привидеться казаку до боли родные места. Но всё это придёт к нему позже, а пока Григорий Мелехов, раненный, уставший, потерявший всё самое дорогое, что было у него на свете, слушал знакомую с детства песню о Ермаке – старую, пережившую многие века. Простыми и бесхитростными словами рассказывала песня о вольных казачьих предках, некогда бесстрашно громивших царские рати, ходивших по Дону и Волге на мелких стругах, «щупавших» купцов, бояр и воевод, покорявших далёкую Сибирь. «И в угрюмом молчании слушали могучую песню потомки вольных казаков, позорно отступавшие, разбитые в бесславной войне против русского народа...».

Слушал ту песню о Ермаке и казак Глазуновской станицы Фёдор Крюков, волею лихой судьбы оказавшийся в кубанском хуторе. В жарком тифозном

бреду, когда удавалось на миг-другой взять себя в руки, укоризненно оглядывал станичников, смавивших его в эту нелёгкую и ненужную дорогу, судорожно хватался за кованный сундучок с рукописями, умолял приглядеть: не было у него ни царских червонцев, ни другого богатства, кроме заветных бумаг. Словно чуял беду и, наверное, не напрасно... Вырос в том безвестном хуторе на берегу Егорлыка ещё один могильный холмик, и не до бумаг было станичникам, бежавшим от наступавшей Красной Армии. Бесследно исчезли рукописи, а молва о Крюкове-отступнике в немалой степени способствовала тому, чтобы о нём долгие годы не вспоминали литературоведы и не издавались его книги.

Нынешнему поколению читателей почти неизвестно имя Фёдора Дмитриевича Крюкова. Между тем, его по праву можно считать одним из крупнейших донских литераторов дореволюционного периода. Побывайте в любой казачьей станице – там и поныне сохранилась память о нем.

Известно, что русская критика конца XIX – начала XX веков именовала Крюкова не иначе, как «Глебом Успенским донского казачества». А.М. Горький в статье «О писателях-самоучках» называл Крюкова в числе литераторов, которые «не льстят мужику», советовал учиться у него «как надо писать правду».¹ В.Г. Короленко в августе 1920 г. сообщил С.Д. Протопопову: «От Горнфельда получил известие о смерти Ф.Д. Крюкова. Очень

1. А.М. Горький Соч. в тридцати томах, т. 24-й стр. 132 ГИХЛ, М.1953.

жалею об этом человеке. Отличный был человек и даровитый писатель».²

А вот что писал в статье «Памяти Ф.Д. Крюкова» журнал «Вестник литературы», издававшийся в 1920 г. в Петрограде: «Чуткий и внимательный наблюдатель, любящий и насмешливый изобразитель простонародной души и жизни, Ф.Д. принадлежит к тем второстепенным, но подлинным создателям художественного слова, которыми по праву гордится русская литература».³

Со всем этим нельзя не согласиться.

* * *

Весь полувековой жизненный путь Ф.Д. Крюкова (он родился в 1870 году в станице Глазуновской) связан с Доном. Окончив гимназию, уехал в Петербург, поступил на историко-филологический факультет университета. Товарищ его студенческих лет Вл. Боцяновский (впоследствии известный русский литератор) вспоминал, как Крюков «долго и до последней возможности не хотел расстаться со своими красными лампасами, бывшими для него как бы символом горячо любимого Дона».

Он рано начал писать – ещё на студенческой скамье. Поначалу, подражая Чехову, помещал бытовые миниатюры в «Петербургской газете». Один из ранних рассказов Крюкова, подписанный псевдонимом «Березенцов», повествовал о том, как студент давал урок околоточному надзирателю. Фраза околоточного «И дал же вам бог такой

2. В.Г. Короленко Соч., т. 10-й стр. 580 ГИХЛ, М. 1956.

3. «Вестник литературы». № 6 (18) стр. 15 Петроград, 1920.

талант, Иван Абрамович», вызванная красноречием крюковского героя, стала, как вспоминал тот же Боряновский, афоризмом в студенческих кругах.

От миниатюр Крюков перешёл к историческим повестям. В 1892 году «Северный вестник» печатает его «Казачьи старинные суды». В том же году в «Историческом вестнике» появляется повесть Крюкова «Гулевщики». На следующий год в «Русском богатстве» появляется знаменитая повесть писателя «Казачка».

С той поры почти на протяжении четверти века в «Русском богатстве» печатаются его рассказы, повести и очерки из жизни простых людей с Дона.

Народник по своим убеждениям, он удивительно тонко изображал в своих произведениях земляков встревоженных, ищущих, болезненно приспособившихся к сумятице, будоражившей их быт и душу на рубеже двух веков. Эту мятущуюся душу казачества Крюков показывал и в своеобразных бытовых буднях, и в острых конфликтах с новым, оставаясь – в любых обстоятельствах – честным и откровенным художником.

Окончив Петербургский университет, Крюков в течение нескольких лет преподавал словесность в орловской гимназии. Педагогическая карьера его была, однако, непродолжительной: начальству не по душе пришлась неизменная тяга Крюкова к простонародью и пришлось выйти в отставку. К этому времени относится избрание Крюкова в 1-ю Государственную Думу. Это была дань земляков популярному на Дону писателю, но никак не стремление к политической деятельности. В Думе

Крюков примкнул к трудовикам, подписал вместе с другими знаменитое «Выборгское воззвание», за что был заключен в Кресты. После освобождения из царской тюрьмы ему запрещен был въезд на Дон. Продолжая писать для «Русского богатства», Крюков стал репетитором детей войскового атамана, живших в Петербурге, втайне мечтая заслужить этим право на возвращение в Глазуновскую. «Терпи казак, будучи одним из атаманов «Русского богатства», – дружески поддерживал его в это трудное время В.Г. Короленко. (Письмо от 18 июля 1913 г.).

Возвращение в родные места затянулось, однако, надолго. В «Русском богатстве» Крюков стал к тому времени одним из ведущих редакторов, много писал для журнала, правил рукописи начинающих. Один за другим выходили из печати сборники рассказов писателя. Он начал работу над большим романом из казачьей жизни. Помешала война – Крюкова призвали в армию. Оторванный от своих рукописей, от любимых книг, он страшно тосковал.

Революционные события 1917 года застали его на Дону, но он не смог правильно понять их и определить свою идейную позицию, растерялся. Земляки послали его делегатом на Войсковой круг, а там – как человека уважаемого и популярного в народе – избрали войсковым секретарем, – на должность, совершенно ему не нужную. Он и сам понимал это, но не нашел мужества отказаться. Лучше всего говорит об этом письмо к А.Г. Горнфельду в редакцию «Русских записок» (выходивших после закрытия «Русского богатства»), посланное из Новочеркаска в апреле 1917 года:

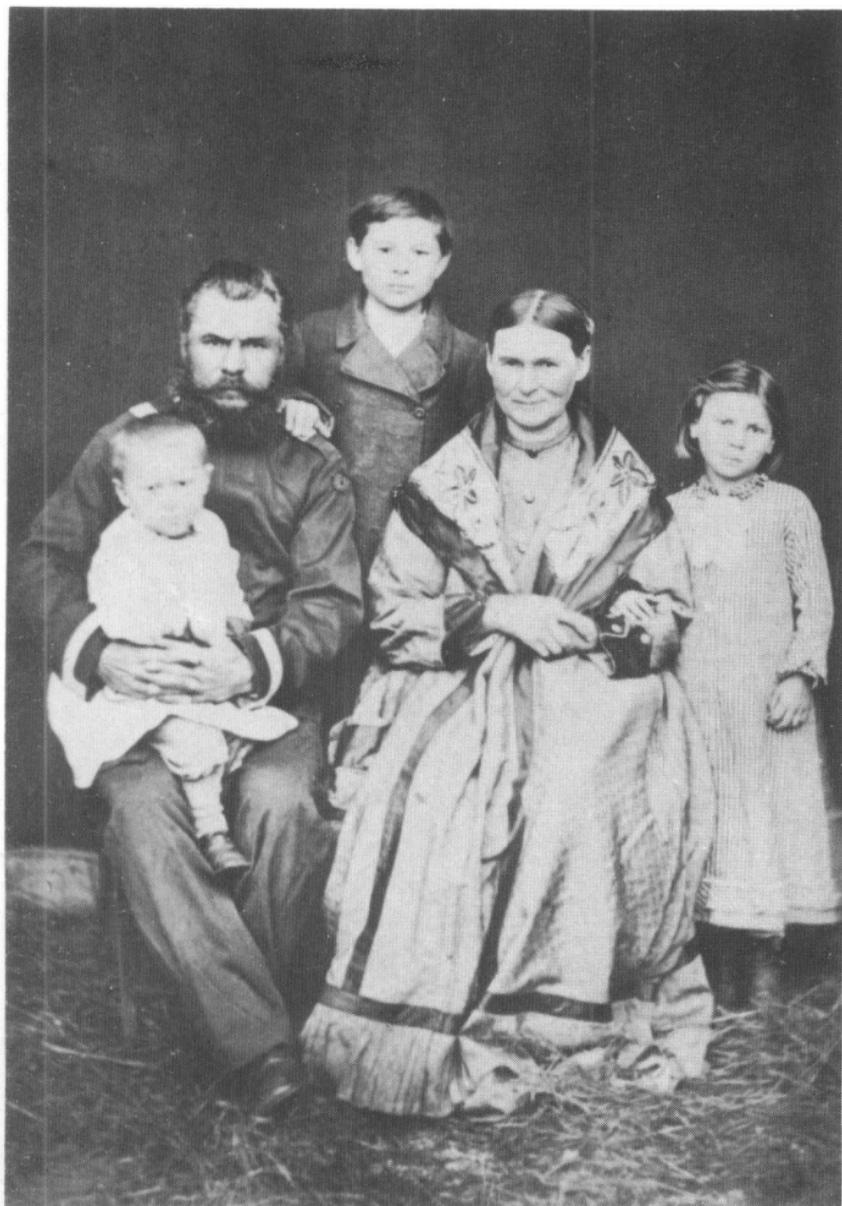
«Завтра кончается казачий съезд – кстати сказать, совершенно сумбурный, бестолковый и бесплодный. Я заеду отсюда в Глазуновскую на несколько дней и затем – в Питер. Не знаю, кого из товарищей застану там. Хотя мне и угрожают тут оставить меня на какое-нибудь ампула, но у меня пропала охота к начальствованию в данный момент, да и чувствую, что соскучился по литературе. Материалом переполнен до чрезвычайности. Попробую засесть».⁴

Случилось иначе.

Крюков не попал в Петербург, остался на Дону. В те бурные дни, когда решалась судьба казачества, ушел в себя, забросил рукописи. Приглашения и просьбы сотрудничать, приходившие в Глазуновскую из белогвардейских журналов, складывались в ящик письменного стола и оставались без ответа. В сложном водовороте событий Крюков оказался бессильным найти своё место. Народнические иллюзии рушились, принять же безоговорочно то, о чем писали газеты Москвы и Петрограда, он тоже не мог. Когда под натиском красных частей белоказачьи войска начали отступать с Дона, двинулся с ними на юг и Крюков, так и не понявший до конца великого ветра надвигавшихся перемен.

О последних днях писателя мне рассказывали его сверстники, глазуновские старожилы Дмитрий Филиппович Мишаткин и Никита Куприянович Мохов, а также крестница Ф. Д. Крюкова – Евдокия Моисеевна Мишаткина, проживающая сейчас в

4. Письмо хранится в ЦГАЛИ СССР, фонд 155, ед. хр. 676.



70-е годы XIX в., стан. Глазуновская. Семья Дмитрия Крюкова,
Федя стоит позади.



Ф.Д. Крюков студентом.



Ф.Д. Крюков школьным преподавателем.



1919 – Перед отступом с Дона. Ф.Д. Крюков с сестрой Марией и приемным сыном Петром. (Последняя фотография писателя).

Глазуновской, и племянник его – Дмитрий Александрович Крюков, ныне ростовчанин. Пытаясь уйти от политики, Крюков усиленно занялся подзапущенным хозяйством – купил две пары волов, пару лошадей, коров, заложил на пустыре сад. «Хозяйство это меня и погубило, заставило тронуться в отступление...» – с горечью говорил Крюков станичникам, оказавшись на Кубани.

Тернистой, путанной дорогой шел писатель к тому, о чём мечтал всю свою жизнь – к счастью трудового казака. Трагично оборвалась эта дорога, а память в народе о нём всё-таки осталась. Не может ведь так просто уйти из жизни человек, живший для людей. И думается потому, всё лучшее из того, что создал этот интересный и самобытный писатель, чьё творчество по достоинству оценили Горький и Короленко, следовало бы переиздать.

Вл. МОЛОЖАВЕНКО

ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ КРЮКОВ
(1870-1920)

Биографическая и литературная справка

Старший сын станичного атамана станицы Глазуновской на р. Медведице, родился (ст.ст.) 2 февраля 1870 г. Окончил церковно-приходское училище в Глазуновской, Усть-Медведицкую гимназию, затем, вероятно первый в станице, поехал учиться в Петербург (Историко-Филологический институт). Студентом уже печатался, под псевдонимами. Первые заметные бытовые очерки – «Казачьи станичные суды» (1892), «Гулебщики». Первый рассказ – «Казачка» (1896). По окончании института многие годы служил учителем гимназии – в Орле, потом в Нижнем Новгороде. Был очень популярен в Усть-Медведицком округе Войска Донского, участвовал в митингах 1905 года, был депутатом 1-й Государственной Думы от Дона, по убеждениям примыкал к «народным социалистам». В Думе произнес энергичную речь против посылки донских частей для подавления революционных выступлений и в пользу общественного и культурного развития казачества. При разгоне 1-й Государственной Думы подписал Выборгское воззвание, за что был судим, отсидел 3 месяца в Крестах. В 1907 г. за участие в революционных волнениях административно выслан за пределы Области Войска Донского на несколько лет. С этого времени уже систематически печатается в «Русском богатстве»

(«Русских записках» с войны). Рассказы и очерки: «Станичники», «Офицерша», «На речке Лазоревой», «В камере № 380», «Полчаса», «Новые дни», «Шквал», «В нижнем течении», «Силуэты», «В родном углу» и многие другие. В 1907 и 1910 годах опубликованы отдельные книги его рассказов. После Н.-Новгорода Крюков постоянно живет в Петербурге (работает библиотекарем Горного института), весьма сближается с Короленко и входит в состав редакции «Русского Богатства».

Главная часть всего написанного им до революции – с яркими осязаемыми фигурами, сочным локальным языком – относится к Дону, к родным местам, с которыми никогда не ослаблялись его духовные, кровные и физические связи. После снятия административных ограничений он по 2-3 раза в год ездил в станицу обрабатывать землю и сад своим незамужним сестрам (не был женат и он) и, живя годами в Петербурге, ни на день не переставал быть донцом. Короленко писал, что Крюков «первый дал нам настоящий колорит Дона». Всякий, кто найдет и перечтет донские рассказы и очерки Крюкова, пожалуй добавит: «и – последний». Такой живости, неподдельности, неповторимости быта, уклада, обычаев, языка, психологии донского казачества (после Гражданской войны подавленных, затем стертых), такой глубины многолетних наблюдений **изнутри** мы не найдем уже более ни у кого из донских писателей. Кроме только... кроме только автора «Тихого Дона» – и то лишь в **первой** его редакции, и то лишь – исключая чужеродные непонятные вставленные куски...

Это художественное сопоставление для меня лично разительно. (Хотя не могу абсолютно уверенно исключить, что – был, жил никогда публично не проявленный, оставшийся всем неизвестен, в Гражданскую войну расцветший и вослед за ней погибший еще один донской литературный гений: 1920-22 годы были годами сплошного уничтожения воевавших по ту сторону).

В годы германской войны Ф. Крюков неоднократно бывал на фронте в санитарном отряде Г. Думы и собрал обильные фронтовые впечатления, отраженные в его очерках и записных книжках. В марте 1917 г. в Петрограде Крюков избран в Совет Союза Казачьих войск. Но вскоре быстрое развитие событий Семнадцатого года, свое особое на Дону, душевно утянуло его из Петрограда в родные места – и уже навсегда. Крюков входит в состав Войскового Круга (т.е. сепаратного донского парламента), позже становится секретарем его, издает в Новочеркасске журнал «Донская волна» и делит со своим родным краем всё грозное трехлетие, он свидетель и участник изменчивого течения Гражданской войны, упадков и взлётов донского духа, соотношений Дона с белыми и красными. Его наблюдению доступны – родная ли станица, разгромленная ЧОНовцами, или вся округа ее, охваченная Донским восстанием, с такой трагической силой врезанным в роман.

Как следует из сохранившихся свидетельств, все эти годы Крюков продолжает писать большую книгу, начатую еще в Петрограде во время 1-й мировой войны. При распаде и отступе Донской

армии Крюков, ее офицером, отступает на Кубань и там, в 50 лет, умирает от сыпного тифа, а след его рукописей, возимых с собою, теряется.

А. СОЛЖЕНИЦЫН.

100

ОГЛАВЛЕНИЕ

НЕВЫРВАННАЯ ТАЙНА... А. Солженицын	5
АНАЛИЗ ПЕРЕД НАПИСАНИЕМ РАБОТЫ	15
ПРЕДПОЛАГАВШИЙСЯ ПЛАН КНИГИ .	23
ГЛАВА АНАЛИТИЧЕСКАЯ	25
Исторические события и герои романа .	25
1. <i>Промеж себя</i>	32
2. <i>Иногородние</i>	90
Другой вариант главки <i>Иногородние</i> . .	101
3. <i>Блукания</i>	114
4. <i>Соки земли</i>	149
(Объяснительная записка исследователя)	149
6. <i>Повернут боком</i>	159
ИЗ ГЛАВЫ ДЕТЕКТИВНОЙ . . .	153
1.	
2. В петле сокрытия	154
3.	
ПРИЛОЖЕНИЯ	171
Из сохранившихся тезисов Д*	171
Из печатных материалов о Шолохове . .	174
Письмо в редакцию «Правды»	
А. Серафимовича и др.	177
Об одном незаслуженно забытом имени...	
Вл. Моложавенко	179
Фёдор Дмитриевич Крюков (1870-1920)...	
А. Солженицын	190



ROSSEELS PRINTING C°
VAARTSTRAAT 70-72 & 82
B-3000 LOUVAIN-BELGIUM
☎ 3216 23.60.01 (2 lines)